

ОКТАБРЬ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ

№ 10 1934

ЛИТЕРАТУРНО- ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ



СОДЕРЖАНИЕ

РОМАНЫ, ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ

ДЖОН РИД — Дочь революции
П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Дикое поле
А. КАРАВАЕВА — Лесозавод
М. ШОЛОХОВ — Тихий Дон

ОЧЕРКИ и ВОСПОМИНАНИЯ

Ал. ИСБАХ — Полотняный город
А. ГАБАРЮ — Новобранцы
Н. КОМАРНИЦКИЙ — В годы империалистической войны
Вл. БОНЧ-БРУЕВИЧ — Тайная поездка в Россию (1905 г.)

СТНХ И: В. Саянова, Н. Садофьева, С. Кирсанова, А. Кудрейко, С. Щипачева, В. Макарова и др.

ЛИТЕРАТУРА:

Б. ВОЛИН — Ленин и литература

ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

БИБЛИОГРАФИЯ

ВНИИ 2

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

О К Т Я Б Р Ъ

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
ВСЕСОЮЗНОЙ И МОСКОВСКОЙ
АССОЦИАЦИЙ
ПРОЛЕТАРСКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ

★

К Н И Г А В Т О Р А Я

Ф Е В Р А Л Ъ 1 9 2 8

М О С К О В С К И Й Р А Б О Ч И Й
М О С К В А * Л Е Н И Н Г Р А Д

**Отпечатано в 7-й типографии
«ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ»
Мосполиграф
Москва, Арбат, Филипповский, 13
Тираж 3.200 экз. Мосгублит № 3.248**

ТИХИЙ ДОН

(Роман)

*

МИХ. ШОЛОХОВ

(Продолжение)

Вторая часть

I

СЕРГЕЙ Платонович Мохов издалека ведет свою родословную. В годы царствования Петра первого шла однажды в Азов по Дону государева баржа с сухарями и огнестрельным зельем. Казаки воровского городка Чигонаки, угнездившегося в верховьях Дона, неподалеку от устья Хопра, ночью напали на эту баржу, стражу сонную перерезали, сухари и зелье ограбили, а баржу затопили.

По цареву приказу из Воронежа пришли войска, воровской тот городок Чигонаки сожгли, казаков, причастных к разбойному на баржу нападению, нещадно в бою разбили, а взятого в плен есаула Якирку и с ним сорок казаков перевешали на пловучих виселицах, и для устрашения низовых, волновавшихся станиц были пущены качели те вниз по Дону.

Лет десять спустя, на том месте, где раньше дымились курени Чигонакской станицы, поселились пришедшие казаки и те, что уцелели от разгрома. Вновь выросла и опоясалась боевыми валами станица. С той-то поры и пришел в нее из Воронежского указа царев досмотрщик и глаз-мужик Мохов Никишка. Торговал он с рук разной необходимой в казачьем обиходе рухлядью: черенками для ножей, табаком, кремнями; скупал и продавал краденое и раза два в год ездил в Воронеж, будто за товаром, а на самом деле доносил, что в станице пока-де спокойно и казаки нового злодейства не умышляют.

От этого-то Мохова Никишки и повелся купеческий род Моховых. Крепко поосели они на казачьей земле. Пообсеменились и выросли в станицу, как бурьян-копытник, — рви не вырвешь; свято блюли полу-

истлевшую грамоту, какой жаловал прадеда воронежский воевода, посылая в бунтовскую станицу. Может, сохранилась бы она и до наших времен, да в большом пожаре, еще при деде Сергея Платоновича, сгорела вместе с деревянной шкатулкой, хранившейся на божнице. Дед разорился, промотал все состояние, играя в карты, снова поднялся было на ноги, но пожар слизал все, и Сергею Платоновичу пришлось начинать сызнова. Похоронив параличного отца, он со щербатого рубля повел дело. Начал скупать по хуторам щетину и пух. Лет пять бедствовал, жулил и прижимал казаков окрестных хуторов на каждой копейке, а потом как-то сразу вырос из Сереежки-шибая в Сергея Платоновича, открыл в станице галантерейную лавчушку, женился на дочке полусумасшедшего попа, взял немалое за ней приданое и открыл мануфактурный магазин. Во-время начал Сергей Платонович мануфактурное дело. Из левобережных станиц, где бесплодна и жестка песчаная с каменным суглинком земля, на правую сторону Дона по распоряжению Войскового правительства стали переселяться казаки целыми хуторами. Выросла и обросла постройками молодая Краснокутская станица, на рубеже с бывшими помещичьими землями, по реке Чиру, Черной и Фроловке; над степными балками и логами, гранича с хохлячьими слободами, повылупились новые хутора. За товаром ездили верст за пятьдесят и больше, а тут вот она, — лавка с свежими сосновыми полками, туго набитыми пахучим красным товаром. Широко, как трехрядную гармонь, развернул Сергей Платонович дело: помимо красного товара, торговал всем, что надо в сельском немудром хозяйстве: кожаный товар, соль, керосин, галантерея. В последнее время даже сельскохозяйственными машинами снабжал. С Аксайского завода косилки, сеялки-рядовки, плуги, веялки, сортировки чинно стояли возле зеленостворчатой, прохладной в летнюю пору лавки. В чужом гоманце трудно деньгу считать, но, видно, немалую прибыль давала торговля смекалистому Сергею Платоновичу. Через три года открыл он хлебную ссыпку, а на другой год после смерти первой жены взялся за постройку паровой мельницы.

В смуглый кулачок, покрытый редким глянцеви́то-черным волосом, крепко зажал он хутор Татарский и окрестные хутора. Что ни двор, то вексель у Сергея Платоновича — зелененькая с оранжевым позументом бумажка, — за косилку, за набратую дочери справу (пошло время девку замуж отдавать, а на парамоновской ссыпке прижимают с ценой на пшеницу, — «дай в долг, Платонович!»), мало ли за что еще... На мельнице девять человек рабочих, в магазине — семеро, да дворовой челяди четверо — вот их 20 ртов, что жуют по купеческой милости. От первой жены у него осталось двое детей: девочка Лиза и мальчик — на два года моложе ее, вялый золотушный Владимир. Вторая жена, сухая узкокостная Анна Ивановна, оказалась бездетной.

Вся запоздалая, невылитая материнская любовь и скопившаяся желчь (вышла она за Сергея Платоновича на закате 34-го года), как из ушата, вылилась на оставшихся детишек. Нервный характер мачехи влиял не по-хорошему на воспитание детей, а отец уделял им внимания не больше, чем конюху Никите или кухарке. Дела и поездки с'едали весь досуг. То в Москву, то в Нижний, то в Урюпинскую, то по станичным ярмарками. Без глаза росли дети. Нечуткая Анна Ивановна не пыталась проникать в тайники детских душ, не до этого было за большим хозяйством — оттого и выросли брат с сестрой чужие друг другу, разные по характерам, не похожие на родных. Владимир рос замкнутым, вялым, с исподлобным взглядом и недетской серьезностью. Лиза, вращавшаяся в обществе горничной и кухарки, распутной, виды видавшей бабы, рано глянула на изнанку жизни. Женщины будили в ней нездоровое любопытство, и она — тогда еще угловатый и застенчивый подросток, — предоставленная самой себе, росла, как в лесу куст дикой волчьей ягоды.

Стекали неторопливые годы.

Старое, как водится, старилось, молодое росло зелеными.

И вот как-то за вечерним чаем неслуханно удивился Сергей Платонович, глянув на дочь (Елизавета, к тому времени кончившая гимназию, успела выравняться в видную, недурную девушку); глянул, и блюдце с янтарным чаем запрыгало в руках: «На мать покойницу похожа. Господи, вот сходство». — Лизка, а ну повернись! — Проглядел, что дочь с раннего детства разительно напоминала мать.

Владимир Мохов — гимназист пятого класса, узкий, болезненно-желтый паренек — шел по мельничному двору. Он с сестрой недавно приехали на летние каникулы, и Владимир, как всегда с приездом, пошел на мельницу посмотреть, потолкаться в толпе осыпанных мучной пылью людей, послушать равномерный гул валцев, шестерен, шелест скользящих ремней. Ему льстил почтительный шопот завозчиков-казаков:

«Хозяйский наследник...»

Осторожно обходя кучи бычачьего помета и подводы, рассыпанные по двору, Владимир дошел до калитки и вспомнил, что не был в машинном отделении. Вернулся.

Возле красной нефтяной цистерны, стоявшей около входа в машинное, вальцовщик Тимофей, весовщик по прозвищу «Валет» и помощник вальцовщика, молодой, белозубый парень Давыдка, засучив по колону штаны, месили большой круг глины..

— А-а-а, хозяин!.. — с насмешливым приветом обратился к нему Валет.

— Здравствуйте.

— Здравствуйте, Владимир Сергеевич!

— Что это вы?..

— А вот глину месим, — с трудом выпростовывая ноги из вязкой пахнувшей навозом гущи, злобно усмехнулся Давыдка, — папаша твой жалеет целковый баб нанять, на нас ездит. Жила у тебя отец! — до-
бавил он, с чавканием переставляя ноги.

Владимир покраснел. Он чувствовал к вечно улыбающемуся Давыдке, к его пренебрежительному тону, даже к белым, всегда смоченным слюною зубам непреодолимую неприязнь.

— Как жила?

— Так. Скупой страшно. Из-под себя ест, — просто пояснил Давыдка и улыбнулся.

Валет и Тимофей одобрительно посмеивались. Владимир почувствовал укол обиды. Он холодно оглядел Давыдку.

— Ты что же... значит, недоволен?

— Залесь-ка помеси, а тогда узнаешь. Какой же дурак будет доволен? Папашку твоего сюда бы заправить, живот-то стрясло бы!

Раскачиваясь, высоко задирая ноги, Давыдко тяжело ходил по кругу и уже беззлобно и весело улыбался. Предвкушая приятное удовлетворение, Владимир тасовал мысли. Нужный ответ нашелся.

— Хорошо, — с расстановкой сказал он, — я передам папаше, что ты недоволен службой.

Он искоса глянул на лицо Давыдки и поразился произведенным впечатлением: губы Давыдки жалко и принужденно улыбались, лица других нахмурились. С минуту все втрое молча месили крутевшую глину. Давыдка, наконец, оторвал от своих грязных ног глаза и заискивающе-злобно сказал:

— Я ить пошутил, Володя... Ну, шутейно сказал...

— Я передам папе, что ты говорил.

Чувствуя на глазах слезы обиды и за себя, и за отца, и за да-
выдкину жалкую улыбку, Владимир пошел мимо цистерны.

— Володя!.. Владимир Сергеевич!.. — испуганно крикнул Давыдка и вылез из глины, опуская штаны прямо на измазанные по колена ноги. Владимир остановился. Давыдка подбежал к нему, тяжело дыша.

— Не говорите папаше. Нарошно сказано было... Уж простите меня дурака... Ей-богу без умысла!.. Нарошно...

— Ладно!.. Не скажу!.. — морщась, выкрикнул Владимир и пошел к калитке. Жалость к Давыдке взяла верх. С чувством облегчения он зашагал над частоколовым белым забором. Из кузни, примостившейся в углу мельничного двора, слышался игривый перестук молотка: раз по железу — глухой и мягкий, два раза — с подскоком по звенящей на-
ковальне.

— На што трогал? — донесся до слуха уходившего Владимира приглушенный бас Валета, — не тронь, оно вонять не будет.

«Ишь сволочь, — озлобяясь, подумал Владимир, — выражается... сказать или не сказать?»

Оглянувшись, увидел прежнюю белозубую давидкину улыбку и твердо решил «скажу!»

На площади возле магазина стояла привязанная к столбу, запряженная в арбу лошадь. С крыши пожарного сарая ребятишки гоняли серую свиристящую тучу воробьев. С терасы гремел звучный баритон студента Боярышкина и еще чей-то голос надтреснутый, сиповатый.

Владимир вошел на крыльцо, над ним заколыхалась листва дикого винограда, буйно заплетавшая крыльцо и терасу, висевшая с голубой резьбы карниза зелеными пенистыми шапками.

Боярышкин махал бритой фиолетовой головой, говорил, обращаясь к сидевшему около него молодому, но бородатому учителю Баланде:

— Читаю его и, несмотря на то, что я сын казака-хлебороба и ко всем привилегированным классам питаю вполне естественную злобу, тут, представьте, я до чортиков жалею это отмирающее сословие. Я сам чуть не становлюсь дворянином и помещиком, с восторгом всматриваюсь в идеал их женщины, болею за их интересы, словом, черт знает что! Вот, дорогой, что значит гений! Можно и веру переменить.

Баланда мял кисть шелкового пояса и, иронически улыбаясь, рассматривал на подоле своей рубахи красные, вышитые гарусом узоры. Лиза валялась в кресле. Разговор ее, видимо, не мало не интересовал. Она всегдашними, что-то потерявшими и чего-то ищущими глазами скупливо глядела на фиолетовую, в царапинах голову Боярышкина.

Поклонившись Владимир прошел мимо и постучался к отцу в кабинет. Сергей Платонович на прохладной кожаной кушетке перелистывал июньскую книжку «Русского богатства». На полу валялся пожелтевший костяной нож.

— Тебе что?

Владимир вобрал голову в плечи, нервно оправил на себе рубашку.

— Я шел с мельницы... — начал он нерешительно, но вспомнил слепящую давидкину усмешку и, глядя на круглый отцовский живот, обтянутый чесунчовой жилеткой, уже решительней продолжал:

— ...и слышал, как Давыдка говорил...

Сергей Платонович, выслушав внимательно, сказал:

— Уволим. Иди. — и кряхтя нагнул за ножом.

По вечерам у Сергея Платоновича собиралась хуторская интеллигенция: Боярышкин — студент Московского политехникума, тощий, страдаемый огромным самолюбием и туберкулезом учитель Баланда, его сожительница — учительница Марфа Герасимовна — девушка не стареющая и круглая, с постоянно неприлично выглядывающей нижней юбкой; почтмейстер — чудаковатый, заплесневелый, с запахом сургуча и дешевых духов холодея. Изредка наезжал из своего имения гостивший у отца — помещика и дворянина — молодой сотник Евгений Листницкий. По вечерам пили на терасе чай, тянули ничемные разговоры, и когда обрывались вялые разговорные нити, кто-либо из гостей заводил дорогой в инкрустациях хозяйский граммофон.

Изредка, в большие праздники, любил Сергей Платонович пустить пыль в глаза: созывал гостей и угощал дорогими винами, свежей осетровой икрой, ради этого случая выписанной из Батайска, лучшими закусками. В остальное время жил узко. Единственное, в чем не отказывал себе, — это в книгах. Любил Сергей Платонович читать и до всего доходить собственным цепким, как повитель, умом.

Компанион его, белокурый, с острой бородкой и потаенными щелками глаз, Емельян Константинович Атепин заходил редко. Был он женат на бывшей усть-медведицкой монашке, наплодил с ней за 15 лет супружеской жизни восьмерых детей, и большую часть времени проводил дома... Из полковых писарей вылез Емельян Константинович в люди, оттуда же принес в семью затхлый душок подхалимства, заискиванья. Дети в его присутствии ходили на цыпочках, говорили шепотом. Каждое утро, умывшись, выстраивались в столовой в ряд, под черным висячим гробом громадных стеновых часов, мать стояла сзади, и едва лишь из спальни долетало сухое покашливание отца, начинали разногласо и фальшиво: «Спаси, господи, люди твоя», потом «Отче наш».

Емельян Константинович успевал одеться в конце молитвы, выходил, щуря щелки капустных глаз, по-архиерейски вытягивал мясистую голую руку. Дети подходили по-очередно и целовали. Емельян Константинович целовал жену в щеку, говорил, нетвердо выговаривая букву «ч».

— Полицка, заварила цяек?

— Заварила, Емельян Константинович.

— Налей покрепце.

Магазинную бухгалтерию вел он. Пятнил страницы под жирными заголовками «дебет» — «кредит» писарским в кудряшках почерком. Читал «Биржевые ведомости», без нужды ущемляя шишкастый нос в золотое пенсне. Со служащими обращался вежливо.

— Иван Петровиц, отпустите целовеку таврицанского ситцику.

Жена звала его Емельяном Константиновичем, дети — папацкой, а приказчики магазина — цацой.

Два священника — о. Виссарион и благочинный о. Панкратий — дружны с Сергеем Платоновичем не вели, были у них давнишние счеты. Между собой и то жили неладно. Строптивый кляузник о. Панкратий умело гадил ближним, а вдовый, живший с хохлушкой-экономкой отец Виссарион, от сифилиса гундосый, от природы приветливый, сторонился и не любил благочинного за непомерную гордыню и кляузный характер.

Все, кроме учителя Баланды, имели в хуторе собственные дома.

На площади красовался ошалеванный пластинами, крашенный в синее домище Мохова. Против него на самой пуповине площади раскрылся магазин со сквозными дверями и слинявшей вывеской «Торговый дом Мохов С. П. и Атепин Е. К.». К магазину примыкал низкорослый, длинный с подвалом сарай, сажень в двадцати от него — кирпичный перстень церковной ограды и церковь с куполом, похожим на вызревшую зеленую луковицу. По ту сторону церкви выбеленные, казенно-строгие стены школы и два нарядных дома: голубой с таким же палисадником — отца Панкратия и коричневый (чтобы не похож был), с резным забором и широким балконом — отца Виссариона. С угла на угол двухэтажный несуразно тонкий домик Атепина, за ним почта, соломенные и железные крыши казачьих куреней, покатая спина мельницы, с жестяными ржавыми петухами на крыше.

Жили, закрывшись от всего синего мира наружными и внутренними, на болтах, ставнями... С вечера, если не шли в гости, зачекывали болты, спускали с привязи цепных собак, и по немому хутору тархтела лишь деревянным языком стукатушка ночного сторожа.

II

В конце августа Митька Коршунов случайно встретился возле Дона с дочерью Сергея Платоновича Елизаветой. Он только что приехал из-за Дона и, примыкая к карше баркас, увидел крашеную, легонькую лодку, легко бороздившую течение. Лодка шла из-под горы, направляясь к пристани. На бабайках сидел Боярышкин. Голая голова его блестела потом, на лбу и висках вздулись веточки жил.

Митька не сразу узнал Елизавету. На глаза ее падала от соломенной шляпы сизая тень. Загорелыми руками она прижимала к груди ворох желтых водяных кувшинок.

— Коршунов, — закивала она головой, увидев Митьку. — Обманул меня?

— Как так обманул?

— А помнишь обещался ехать со мной рыбалить?

Боярышкин бросил бабайки, разогнул спину. Лодка с разлета вылезла носом на землю, хрустом дробя прибрежный мел.

— Помнишь? — смеялась Лиза, выскакивая из лодки.

— Некогда было. Работа, — оправдывался Митька и с перехваченным дыханьем следил за подходившей к нему девушкой.

— Нет! Это невозможно!.. Я, Елизавета Сергеевна, отказываюсь! Вот вам хомут и дуга, а я вам больше не слуга! Подумайте, сколько исколесили по этой проклятой воде. У меня кровавые мозоли от бабаек. То ли дело материк!

Боярышкин твердо ступил на колючую крошку мела длинной бо-сой ступней и вытер пот со лба верхом измятой студенческой фуражки. Не отвечая ему, Лиза подошла к Митьке. Тот неумело пожал протянутую ему руку.

— Когда ж поедем рыбалить? — спросила, запрокидывая голову, щуря глаза.

— Хучь завтра. Обмолотились, теперича можно.

— Обманешь?

— Ну, нет!

— Раню зайдешь?

— До света.

— Буду ждать.

— Приду, ей-богу, приду!

— Не забыл, в какое окно стучать?

— Найду, — улыбнулся Митька.

— Я, наверное, скоро уеду. Хотелось бы порыбалить.

Митька молча вертел в руке заржавленный ключ от баркаса и смотрел ей в губы.

— Скоро? — спросил Боярышкин, рассматривая на ладони узорную ракушку.

— Сейчас поедем.

Она молчала и, чему-то улыбаясь, спросила:

— Ведь у вас какая-то свадьба была?

— Сестру выдавали.

— За кого же это? — и, не дожидаясь ответа, улыбнулась непонятно и коротко. — Приходи же! — и снова, как тогда, в первый раз, на терасе моховского дома, улыбка жиганула Митьку крапивным укусом.

Он проводил ее глазами до лодки. Боярышкин раскорячившись сталкивал лодку, она с улыбкой смотрела через его голову на Митьку, игравшего ключом, кивала ему головой.

От'ехав саженей пять, Боярышкин спросил тихо:

— Что это за молодчик?

— Знакомый.

— Друг сердца?

Митька, слышавший их разговор, за скрипом уключин не расслышал ответа, он видел, как Боярышкин, налегая на весла, откидываясь засмеялся, но ее лица не видел, — она сидела к нему спиной. Сиреневая лента стекала со шляпы на оголенный покат плеча, дрожала от бесильного ветра, таяла, дразнила митькин затуманенный взгляд.

Митька, редко ходивший рыбалить удочками, никогда не собирался с таким рвением, как в этот вечер. Он наколол кизяков и сварил в огороде пшеничную кашу, наскоро перевязал отопрёвшие завязки крючков.

Михей, глядя на его приготовления, попросил:

— Возьми меня, Митрий, одному не способно.

— Управлюсь и один.

Михей вздохнул.

— Давно мы с тобой не ездили. Теперя подержал бы сазаника эдак в полпуда бы.

Митька, морщась от пара, бившего из чугуна с кашей горячим столбом, помолчал. Окончив сборы пошел в горенку.

Дед Гришака сидел у окна, сквозь круглые в медной оправе очки мусолил глазами Евангелие.

— Дедушка! — окликнул Митька, подпирая плечом притолоку.

Дед Гришака лупнул глазами вверх очков.

— Ась?

— Разбуди меня посля первых кочетов.

— Куды в такую спозаранку?

— Рыбалить.

Дед, любивший рыбу, для видимости запротивился.

— Отец говорил конопи молотить завтра. Нечево баглайничать. Ишь рыбалка!

Митька оттолкнулся от притолоки, схитрил:

— Мне все одно. Хотелось бы рыбкой покормить деда, а раз конопи, значит, не пойду.

— Погоди, куда ж ты? — испугался дед Гришака, стаскивая очки, — я погутарю с Мироном, пойдн уж што-ля. Рыбки посолонцевать не плохо, завтра, вокат, середа. Разбужу, иди, иди, дурак! Чему скалишься-то?

В полночь дед Гришака, придерживая одной рукой холстинные портки, другой, державшей костыль, щупая дорогу, спустился по порожкам. Прошаркал по двору до амбара белой трясуцей тенью и концом костыля ткнул сопешего на полсти Митьку. В амабре пахло свежемолоченным хлебом, мышиным пометом и кислым, застоявшимся паутинным запахом нежилого помещения.

Митька спал у закрома на полсти. Раскачался не скоро. Дед Гришака сначала легонько толкал его костылем, шептал:

— Митюшка! Митька!.. Эко, поганец, Митька! — Митрий густо сопел, поджимал ноги. Ожесточившись, дед воткнул тупой конец костыля Митьке в живот, начал сверлить, как буравом. Охнул Митька, схватил костыль и проснулся.

— Сон дурачий! Ить это беда, как спишь! — ругался дед.

— Молчи, молчи, не гуди, — пришепывал Митька спросонок, шаря по полу чирики.

Он дошел до площади. По хутору заголосили вторые петухи. Шел по улице мимо дома попа Виссариона, слышал, как в курятнике, хлопая крыльями, протодьяконским басом взревел петух и испуганным шепотом заквохтали куры.

На нижней ступеньке магазина дремал сторож, воткнувшись носом в овчинное тепло воротника. Митька подошел к моховскому забору, сложил около удочки и кошелку с припасом, легонько ступая, чтобы не услышали собаки, взошел на крыльцо. Потянул дверную холодную ручку — заперто. Перелез через перило и подошел к окну. Створки полуприкрыты. Из черной трещины сладко пахнет девичьим, теплым во сне телом и неведомым, сладким запахом духов.

— Лизавета Сергеевна!

Митьке показалось, что он сказал очень громко. Выждал. Тишина. «А ну как ошибся окном? Што ежели сам спит? Вот врепаюсь!.. Положит из ружья», — думал Митька, зажимая в горсть оконную ручку.

— Лизавета Сергеевна, вставай рыбалить.

«Ежели ошибся окном — вот рыбальствие будет».

— Вставай што ли! — раздосадованно сказал Митька и просунул голову в комнату.

— А? Кто? — испуганно и тихо откликнулась из черноты.

— Рыбалить пойдем? Это я, Коршунов.

— А-а-а, сейчас.

В комнате зашуршало. Сонный теплый голос ее, казалось, пахнул мятой. Митька видел, что-то белое, шелестящее, двигавшееся по комнате.

«Эх, сладко бы с ней позаревать... А то рыбалить... Сиди там, клечатей»... — неясно думал он, вдыхая запах спальни.

В окно показалось ее смеющееся лицо, повязанное белой косынкой.

— Я через окно. Дай мне руку.

— Лезь, — помог Митька.

Опираясь на его руку, она близко взглянула ему в глаза

— Скоро я?

— Ничево. Успеем.

Пошли к Дону. Она терла розовой ладонью слегка припухшие глаза, говорила:

— Сладко я спала. Надо бы еще поспать. Рано уж очень идем.

— Как раз будет.

Спустились к Дону по первому от площади переулку. За ночь откуда-то прибыла вода, и баркас, примкнутый к лежавшей вчера на сухом карше, качался, окруженный водой.

— Разуваться надо, — вздохнула Лиза, меряя глазами расстояние до баркаса.

— Давай перенесу? — предложил Митька.

— Неудобно... я лучше разуюсь.

— Удобнее будет.

— Не надо, — замылась в смущении.

Митька левой рукой повыше колен обнял ее ноги, легко приподняв, пошлепал по воде к баркасу. Она невольно охватила смуглый твердый столб его шеи и засмеялась воркующе тихо.

Если б не споткнулся Митька о камень, на котором хуторские бабы шлепали вальками белье, не было бы нечаянного короткого поцелуя. Ахнув, она прижалась к растрескавшимся митькиным губам, и Митька стал в двух шагах от серой стенки баркаса. Вода заливалась ему в чирки, холодила ноги...

Отомкнув баркас, он с силой толкнул его от карши, вскочил на ходу. Огребался коротким веслом стоя. За кормой люлюкая журчилась, плакала вода. Баркас приподнятым носом мягко резал стремя, направляясь к противоположному берегу. Дребезжали, подпрыгивая, удилица.

— Куда ты правишь? — спросила, оглядываясь назад.

— На этот бок.

У песчаного обрыва баркас пристал. Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки, понес в кусты прибрежного боярышника. Она кусала ему лицо, царапалась, раза два придушенно вскрикнула, и, чувствуя, что обессиливает, заплакала зло, без слез.

Возвращались часов в девять. Небо кутала желто-рудая мгла. Плясал по Дону ветер, приватил волны. Плясал, перелезая через поперечные волны, баркас, и пенистые студёные брызги поднятой с глубин воды обдавали выпитое бледностью лицо Елизаветы, стекали и висли на ресницах и прядях, выбившихся из-под косынки волос.

Она устало щурила опустошенные глаза, ломала в пальцах стебелек занесенного в баркас цветка. Митька греб, не глядя на нее, лод ногами его валялся небольшой сазан и чебак, с застывшим в смертной судороге ртом и вылупленным в оранжевом ободке, глазом. На лице Митьки блудила виноватость, довольство скрещивалось с тревогой...

— Я повезу тебя к сееновой пристани. Оттель тебе ближе, — сказал ей, поворачивая баркас по течению.

— Хорошо, — шепотом согласилась она.

На берегу безлюдно, огородные плетни над Доном изнывали, опаленные горячим ветром, поили воздух прижженным запахом хвороста. Плетни над Доном изнывали, опаленные горячим ветром, поили воздух Тяжелые обклеванные воробьями шляпки подсолнухов, вызрев до предела, никли к земле, роняли опушенные семечки. Займище изумрудилось наращенной молодой атавой. Вдали взбрыкивали жеребята, и тягучий смех привешенных балабонов нес к Дону южный горячий ветер.

Митька поднял рыбу и протянул выходившей из баркаса Елизавете.

— Возьми улов-то. На!

Она испуганно взмахнула ресницами, взяла.

— Ну, я пойду.

— Што ж...

Пошла, держа в откинутой руке нанизанную на таловую хворостинку рыбу, жалкая, растерявшая в боярышнике недавнюю самоуверенность и веселость.

— Лизавета!

Она повернулась, тая в изломе бровей досаду и недоуменье.

— Вернись-ка на час.

И когда подошла поближе, сказал, досадуя на свое смущенье:

— Не доглядели мы с тобой... Эх, юбка-то сзади... пятнышко... махонькое оно...

Она вспыхнула и залилась краской до ключиц.

Митька, помолчав, посоветовал.

— Иди задами.

— Все равно... через площадь игти. Хотела ведь черную юбку одеть, — прошептала с тоской и неожиданной ненавистью озирач митькино лицо.

— Дай листком обзелено? — просто предложил Митька и удивился выступившим на глазах ее слезам.

Ветровым шелестом-перешепотом поползла по хутору новость: «Митька Коршунов Сергея Платоновича дочку обгулял!» — гутарили бабы на прогоне зарей, когда прогоняли в табун коров, под узенькой плавающей в серой пыли тенью колодезного журавля, проливая из ведер воду, у Дона, на плитняках самородного камня выколачивая простиранные лохунишки.

— То-то оно без родной мамушки.

— Самому-то дыхнуть некогда, а мачеха скрозь пальцев поглядывает...

— Надьсь сторож Давыдка Беспалый рассказывал: «Гляжу в полночь, а в крайнюю окно гребется человек. Ну, думаю, вор к Платоновичу. Подбегаю, стал-быть. — «Кто такое есть? Полицевский, суды!.. а это, стал-быть, он и есть, Митька».

— Девки ноне, хвятина им в дыхало, пошли...

— Митька мому Микишке расписывал, дескать, сватать буду.

— Нехай хучь трошки сопли утрет!

— Приневолил ее, гутарили надьсь, ссильничал...

— И-и-и, кума, сучка не схочет, так и кобель не вскочит...

Текли по улицам и переулкам слухи, слушки, слушенятки, дегтем мазали прежде чистое имя девушки. Пала молва на лысеющую голову Сергея Платоновича, как балка с постройки на идущего мимо человека, и придавила к земле. Двое суток не выходил ни в магазин, ни на мельницу. Ставни дома наглухо стиснули голубые челюсти. Прислуга, жившая на низах, появлялась только перед обедом.

На третий день заложили Сергею Платоновичу в беговые дрожки серого яблоками жеребца, укатил в станицу, важно и недоступно кивая головой встречавшимся казакам. А следом за ним прошуршала из двора блестящая лаком венская коляска. Кучер Емельян, слюнявя прикипевшую к седеющей бороденке гнутую трубочку, разобрал синее шелковое вожжей, и пара вороных, играючись, защелкала по улице. За кручей емельяновой спины виднелась бледная Елизавета. Легонький чемоданчик держала в руках и невесело улыбалась; махала перчаткой стоявшим у ворот Владимиру и мачехе.

Хромавший из лавки Пантелей Прокофьевич поинтересовался, обращаясь к дворовому Никите:

— Куды ж отправилась наследница-то?

И тот, снисходя к простой человеческой слабости, ответил:

— В Москву, на учение, курсы проходить.

На другой день случилось событие, рассказ о котором долго пережевывали и у Дона, и под тенью колодезных журавлей, и на прогоне... Перед сумерками (из степи пропылил уже табун) пришел к Сергею Платоновичу Митька (нарочно припозднился, чтоб не видели люди). Не просто так-таки пришел, а сватать дочь его Елизавету.

До этого виделся он с ней раза четыре, не больше. В последнюю встречу между ними происходил такой разговор:

— Выходи за меня замуж, Елизавета, а?

— Глупость!

— Жалеть буду, кохать буду... Работать у нас есть кому, будешь у окна сидеть, книжки читать.

— Дурак ты!

Митька обиделся и замолчал. Ушел в этот вечер домой рано, а утром заявил изумленному Миرونу Григорьевичу:

- Батя, жени.
- Окстись!
- На самом деле, не шутейно говорю.
- Приспичило?
- Чево уж там...
- Какая ж прищемила, не Марфушка?
- Засылай сватов к Сергею Платоновичу.

Мирон Григорьевич аккуратно разложил на лавке чеботарный инструмент (чинил он шлеи), хахакнул.

— Ты, сынок, ноне веселый, вижу.

Митька уперся в свое, как бугай в стену, отец вспылил.

— Дурак! У Сергея Платоновича капиталу более ста тысяч, купец, а ты?.. Иди-ка отсель, не придуривайся, а то вот шлеей потяну жениха этова!

— У нас двенадцать пар быков, именье вон какое, опять же, он мужик, а мы казаки.

— Ступай! — коротко приказал Мирон Григорьевич, не любивший долгих разговоров.

Митька встретил сочувствие лишь у деда Гришаки. Тот приплюхался к сыну, цокая костылем по полу.

— Ми-рон!

— Ну?

— Што супротивничаешь? Раз парню пришлось как раз...

— Батя, вы, чисто, дите, истинный бог! Уж Митрий глупой, а вы на диковину...

— Цыц! — пристукнул дед Гришака, — аль мы им неровня? Он за честь должен принять, што за ево дочерю сын казака сватается. Отдаст с руками и с потрахами. Мы люди по всему округу звестные. Не голутьва, а хозяева!.. Да-с!.. Поезжай, Мирошка, нечево там! В приданое мельницу нехай дает. Проси!

Мирон Григорьевич запыхтел и ушел на баз, а Митька порешил дожждаться вечера и итти самому, знал, что отцово упрямство, что вяз на корню: гнутья гнется, а сломить и не пробуйся.

Дошел до парадного, посвистывая, а тут оробел. Потоптался и пошел через двор. На крыльце спросил у горничной, гремевшей накрахмаленным фартуком.

— Сам дома?

— Чай пьют. Подожди.

Сел, подождал, выкурил цыгарку и, послунявив пальцы, затушил, а окурок густо размазал по полу. Сергей Платонович вышел, обметая с жилета крошки сухаря, увидел и сплюснул брови.

— Пройдите.

Митька первый вошел в прохладный, пахнувший книгами и табаком кабинет, почувствовал, что той смелости, которой зарядился из дома, хватило как раз до порога кабинета.

Сергей Платонович подошел к столу и крутнулся на пискнувших каблуках.

— Ну? — пальцы его сзади спины царапали исподнюю доску письменного стола.

— Пришел узнать... — Митька нырнул в холодную слизь буравивших его глаз и зябко передернул плечами, — может отдадите Лизавету?

Отчаяние, злоба, трусость выдавили на растерянном митькином лице пот скупой, как росная сырость в засуху.

У Сергея Платоновича дрожала левая бровь и щерилась, выворачивая бардовую изнанку, верхняя губа. Вытягивая шею, он весь клонился вперед.

— Что?.. Что-о-о-о?.. Мер-за-вец!.. Пошел!!.. К атаману тебя! Ух, ты, сукин сын! Па-ску-да!..

Митька, осмелев от чужого крика, следил за приливом сизой крови, напирившей на щеки Сергея Платоновича.

— Не примите в обиду... Думал вину свою покрыть.

Сергей Платонович закатил набухшие от крови и слез глаза и жмякнул под ноги Митьке чугунную массивную пепельницу. Она рикошетом ударила Митьку в чашечку левой ноги, но он стойко выдержал боль и, рывком распахнув дверь, выкрикивал, скалясь, наглея от обиды и боли:

— Воля ваша, Сергей Платонович, как хотите, а я от души... Кому она такая-то нужна? Вот и думалось славу прикрыть... А то ить накушенный кусок кому нужен? Собака и то не исть.

Сергей Платонович, прикладывая к губам скомканный платок, шел за Митькой по пятам. Он загородил дорогу через парадный ход, и Митька сбежал во двор. Тут-то Сергей Платонович только глазом мипнул торчавшему во дворе Емельяну-кучеру. Пока Митька возился с тугим засовом у калитки, вырвались из-за угла сарая четыре выпущенных собаки и, завидя его, расстелились по чисто выметенному двору.

Из Нижнего с ярмарки привез Сергей Платонович в 1910 году пару черных курчавых щенят, суку и кобелька. Были они черны, курчавы, зевлороты. Через год вымахали с годовалого телка ростом, сначала рвали на бабах, ходивших мимо моховского двора, юбки, потом научи-

лись валять баб на землю и кусать им ляжки, и только тогда, когда загрызли до смерти отца Панкратия телку да пару атепинских кабанков-зимнухов, Сергей Платонович приказал посадить их на цепь. Слускали собак по ночам, да раз в год, весною, на случку.

Митька не успел повернуться лицом, как передний, по кличке Баян, кинул ему лапы на плечи и сомкнул пасть, увязив зубы в ватном сюртуке. Рвали, тянули, клубились черным комом. Митька отбивался руками, стараясь не упасть. Мельком видел, как Емельян, развеивая безобидные из трубки искры, промелся к низам и хлопнул крашеной дверью.

На углу крыльца, прислонясь спиной к водосточной трубе, стоял Сергей Платонович, сучил беленькие кулачки, поросшие глянцеvitым жестким волосом. Качаясь выдернул Митька засов и на окровавленных ногах выволок за собой рычащий, жарко-воняющий псиной собачий клубище. Баяну он изломал горло, задушил, а от остальных с трудом отбили его проходившие мимо казаки.

III

Наталья пришлась Мелеховым ко двору. Мирон Григорьевич детей школил, не глядя на свое богатство и на то, что помимо них были работники; заставлял работать, приучал к делу. Работящая Наталья влезла сveckрам в душу. Ильинишна, скрытно недолюбливавшая старшую сноху-нарядницу Дарью, привязалась к Наталье с первых дней.

— Поспись, поспись, моя чадуношка! Чево вскочила? — ласково бубнила она, переставляя по кухне дородные ноги. — Иди, позарюй, без тебя управимся.

Наталья, встававшая с зарей, чтобы помочь в стряпне, уходила в горницу досыпать.

Строгий на дому Пантелей Прокофьевич и то говаривал жене:

— Слышь, баба, Наташку не буди. Она и так днем мотаает. Сбираются с Гришкой пахать. Дарью, Дарью стегай. С ленцом баба, спорченная... Румянится, да брови чернит, мать ее суку.

— Нехай хучь первый годок покахаается, — вздыхала Ильинишна, вспоминая свою горбатую в работе жизнь.

Григорий малость пообвык в новом своем женатом положении, пообтерхался и недели через три со страхом и озлоблением осознал в душе, что не в конец порвано с Аксиньей, осталось что-то, как от выкрошившегося гнилого зуба корешки. Крепко приросло то, на что он в жениховском озорстве играючись рукой помахивал, — дескать, загоится, забудется... А оно вот и не забылось и кровотоцит при воспо-

минаниях. Еще перед женитьбой на току как-то во время молотбы спросил Петро:

— Гришка, а как же с Аксюткой?

— А што?

— Небось, жалко кидать?

— Я кину — кто-нибудь подымет, — смеялся тогда Гришка.

— Ну, гляди, — жевал Петро изжеванный ус, — а то женишься, да не в пору...

— Тело заплывчиво, а дело забывчиво, — отшутился Гришка.

А оно не так сложилось, и по ночам, по обязанности лаская жену, горяча ее молодой своей любовной ретивостью, встречал Гришка с ее стороны холодок, смущенную покорность. Была Наталья до мужниных утех неохоча, при рождении наделила ее мать равнодушной, медлительной кровью, и Григорий, вспоминая исступленную в любви Аксинью, вздыхал:

— Тебя, Наталья, отец должно на крыге зачинал... Дюже леденстая ты.

А Аксинья при встречах омутно улыбалась, темнея зрачками, роняла вязкую тину слов:

— Здорово, Гришенька! Как живешь-любишься с молодой женушкой?

— Живем... — отделялся Григорий неопределенным ответом и норовил поскорее уйти от ласкового аксиньиного взгляда.

Степан, как видно, примирился с женой. Реже стал бывать у кабака, и на гумне однажды вечером вея хлеб в первый раз за время разлада предложил:

— Давай, Ксюша, заиграем песню?

Присели, прислонясь к вороху обмолоченной пыльной пшеницы. Степан завел служивскую. Аксинья грудным полным голосом дишканила. Складно играли, как в первые годы замужней жизни. Тогда, бывало, едут с поля, прикрытые малиновой полою вечерней зари, и Степан, покачиваясь на возу, тянет старинную песню, тягуче тоскливую, как одичавший в безлюдьи, заросший подорожником степной шлях. Аксинья, уложив голову на выпуклые полукружья мужниной груди, вторит. Кони тянут скрипучую мажару, качают дышло. Хуторские старики издалека следят за песней:

— Голосистая жена Степану попала.

— Ишь ведут... складно!

— У Степки ж и голосина, чисто колокол!

И деды, провожавшие с заваленок пыльный багрянец заката, переговаривались через улицы:

— Низовскую играют.

— Этуя, полчек (однополчанин, служивший в одном полку), в Грузии сложили.

— То-то ее покойник Кирюшка любил!

Григорий по вечерам слышал, как Астаховы загинали песни. На молотбе (ток ихний соседил с степановым током) видел Аксинью по-прежнему уверенную, будто счастливую. Так, по крайней мере, казалось ему.

Степан с Мелеховыми не здоровался. Похаживал по гумну с вилами, шевелил в работе широкими вислыми плечами, изредка кидал жене шутивное словцо, и Аксинья смеялась, играя из-под платка черными глазами. Зеленая юбка ее зыбилась дождем перед закрытыми глазами Григория. Шею его крутила неведомая сила, поворачивая голову в сторону степанова гумна. Он не замечал, как Наталья, помогая Пантелею Прокофьевичу насаживать посад, перехватывала каждый его невольный взгляд своим тоскующим, ревнивым взглядом; не видел того, как Петро, гонявший по кругу лошадей, взглядывая на него, курносил лицо неприметной, про себя, ухмылкой.

Под глухой перегуд-стон, распятый под каменными катками, земли, думал Гришка неясные думки, пытался и не мог поймать увливавшие от сознания скользкие шмоточки мыслей.

С ближних и дальних гумен ползли и таяли в займище звуки молотбы, крики погоничей, высвист кнутов, татаканье веялочных барабанов. Хутор, заживевший от урожая, млея под сентябрьским прохладным сугревом, протянувшись над Доном, как бисерная змея поперек дороги. В каждом дворе, обнесенном плетнями, под каждой крышей каждого куреня коловертью кружилась своя, обособленная от остальных, полнокровная, горько-сладкая жизнь: дед Гришака простыв страдал зубами, Сергей Платонович, перетирая в ладонях раздвоенную бороду, наедине с собою плакал и скрипел зубами, раздавленный позором, Степан вынырчивал в душе ненависть к Гришке и по ночам во сне скреб железными пальцами лоскутное одеяло; Наталья, убегая в сарай, падала на кизеки, тряслась, сжимаясь в комок, оплакивая заплыванное свое счастье; Христоню, пропившего на ярмарке телушку, мучила совесть; томимый ненастным предчувствием и вернувшейся болью вздыхал Гришка; Аксинья, лаская мужа, слезами заливала негаснущую к нему ненависть.

Уволенный с мельницы Давыдка-вальцовщик целыми ночами про-сидивал у Валета в саманной завозчицкой, и тот, посверкивая злыми глазами, говорил:

— Н-е-е-т, ша-ли-ишь! Им скоро жилы перережут! На них одной революции мало. Будет им 1905 год, тогда поквитаемся! По-кви-та-

ем-ся!.. — грозил он рубцеватым пальцем и плечами поправлял накиннутый в напашку пиджак.

А над хутором шли дни, сплетаясь с ючами, текли недели, ползли месяцы, дул ветер, на погоду тудела гора, и застекленный осенней прозрачно-зеленой лазурью равнодушно шел к морю Дон.

IV

В конце октября, в воскресенье, поехал Федот Бодовсков в станицу.

В кошёлке отвез на базар четыре пары кормленных уток, продал; в лавке купил жене ситцу в цветочных загулинах и совсем собрался уезжать (упираясь в ободь ногой, затягивал супонь), в этот момент подошел к нему человек чужой, не станичный.

— Здравствуйте! — приветствовал он Федота, касаясь смуглыми пальцами полей черной шляпы.

— Здравствуй! — выжидательно процедил Федот, прищуря калмыцкие глаза.

— Вы откуда?

— С хутора, не тутошний.

— А с какого будете хутора?

— С Татарскова.

Чужой человек достал из бокового кармана серебряный, с лодочкой на крышке портсигар, угощая Федота папироской, продолжал расспросы.

— Большой ваш хутор?

— Спасибо, покурил. Хутор-то наш? Здоровый хутор. Никак дворов триста.

— Церковь есть?

— А как же, есть.

— Кузнецы есть?

— Ковали то-есть? Есть и ковали.

— А при мельнице слесарная имеется?

Федот взвожжал занудившегося коня и неприязненно оглядел черную шляпу и морщины на крупном, белом лице, втыкавшиеся в короткую черную бороду.

— Вам чево надо-то?

— А я в ваш хутор переезжаю жить. Сейчас вот был у станичного атамана. Вы порожнячком едете?

— Порожнём.

— Заберете меня? Только я не один, жена со мной да два сундука пудов на восемь.

— Забрать можно.

Сладившись за два целковых, Федот заехал к Фроське-бублешнице, у которой стоял на квартире подрядивший его, усадил щупленькую белобрысую женщину, поставил в задок повозки окованные сундуки.

Выехали из станицы. Федот, причмокивая, помахивал на своего маштака волосяными вожжами, вертел плоско-затылой угловатой головой: его почесывало любопытство. Пассажиры его скромненько сидели сзади, молчали. Федот сначала попросил закурить, а потом уж спросил:

— Вы откель же прибываете в наш хутор?

— Из Ростова.

— Тамошний рожак?

— Как вы говорите?

— Спрашиваю, родом откеда?

— А-а, да-да, тамошний, ростовский.

Федот, поднимая бронзовые скулы, взгляделся в далекие заросли степного бурьяна. Гетманский шлях гребся на изволок, и на гребне, в коричневом бурьянном сухостое, в полверсте от дороги калмыцкий наметанно-зоркий глаз Федота различил чуть приметно двигавшиеся головки дудаков.

— Ружьишка нету, а то б заехали на дудаков. Вон они ходют...— вздохнул, указывая пальцем.

— Не вижу, — сознался пассажир, подслепом моргая.

Федот проводил глазами спускавшихся в балку дудаков и повернулся лицом к седокам. Пассажир был среднего роста, худощав, близко поставленные к мясистой переносице глаза светлели хитрецей. Разговаривая, он часто улыбался и козырьком вытягивал верхнюю пухлую губу. Жена его, закутавшись в вязаный платок, дремала, лица ее Федот не разглядел.

— По какой же надобности едете в наш хутор на жительство?

— Я — слесарь, хочу мастерскую открыть. Столярничаю.

Федот недоверчиво оглядел его крупные руки, и пассажир, уловив этот взгляд, добавил:

— К тому же я являюсь агентом от компании «Зингер», по распространению швейных машин.

— Чей же вы будете по прозвищу? — поинтересовался Федот.

— Моя фамилия Штокман.

— Не русский, стал-быть?

— Нет, русский. Дед из немцев происходил.

За короткое время Федот узнал, что слесарь Штокман Иосиф Давыдович работал раньше на заводе «Аксай», потом на Кубани где-то, потом в юго-восточных железнодорожных мастерских. Помимо этого еще кучу подробностей чужой жизни выпытал любознательный Федот.

Пока доехали до казенного леса иссяк разговор. В придорожном родниковом колодезе напоил Федот припотевшего маштака и, осовевший от тряски и езды, начал подремывать. До хутора осталось верст пять.

Федот примотал вожжи и, свесив ноги, прилег поудобней. Вздремнуть ему не удалось.

— Как у вас житье? — спросил Штокман, подпрыгивая и вихляясь на своем сиденье.

— Живем, хлеб жуем.

— А казаки, что же, вообще довольны жизнью?

— Кто доволен, а кто и нет. На всякого не угодишь.

— Так, так... — соглашался слесарь и, помолчав, продолжал задавать кривые, что-то таившие за собой вопросы.

— Сытно живут, говоришь?

— Живут справно.

— Служба, наверное, обременяет? А?

— Служба-то? Привычные мы, только и поживешь, как на действительной.

— Плохо вот то, что справляют все сами казаки.

— Да как же, туды их мать, — оживился Федот и опасливо глянул на отвернувшуюся в сторону женщину. — С этим начальством беда... Выхожу на службу, продал быков — коня справил, а его взяли и забраковали.

— Забраковали? — притворно удивился слесарь.

— Как есть в чистую, — порченный, говорят, на ноги. Я так, я сжак: «войдите, говорю, в положение, што у него ноги, как у призовова жеребца, но ходит он петушьей рысью... проходка у него петушина». Нет, не признали. Ить это раз-з-зор!..

Разговор оживился. Федот в увлечении соскочил с повозки, охотно стал рассказывать о хуторянах, ругать хуторского атамана за неправильную растряску луга, расхваливая порядки в Польше, где полк его стоял во время отбывания им действительной службы. Слесарь остреньким взглядом сведенных в кучу глаз бегал по Федоту, шагавшему рядом с повозкой, курил легкий табак из костяного с колечками мундштука, часто улыбался; но косая поперечная морщина, рубцевавшая белый покатый лоб, двигалась медленно и тяжело, словно изнутри толкаемая ходом каких-то скрытых мыслей.

Доехали до хутора перед вечером.

Штокман, по совету Федота, сходил к вдовой бабе Лукешке Поповой и снял у нее две комнаты под квартиру.

— Каво привез из станицы? — спрашивали у Федота соседки, выждав его у ворот.

— Агента.

— Какова такова агела?

— Дуры, эх, дуры! Агента, сказано вам, машинами торгует. Красивым так раздает, а дурным, таким вот, как ты, тетка Марья, за деньги.

— Ты-то, дьявол клешнятый, хорош. Образина твоя калмыцкая!.. На тебя конем не наедешь: испужается.

— Калмык да татарин первые люди в степе, ты тетушка не шути!.. — уходя отбивался Федот.

Поселился слесарь Штокман у косой и длинноязыкой Лукешки. Ночь не успел заночевать, а по хутору уж бабы языки вывалили.

— Слыхала, кума?

— А што?

— Федотка-калмык немца привез.

— Н-у-у-у?..

— И вот тебе мать божья! В шляпе, а по прозвищу Штопол, чи Штокал...

— Никак из полицейских?

— Акцизный, любушка.

— И-и-и, бабонька, брешут люди. Он, гуторют, булгахтир, все одно, как попа Панкратия сынок.

— Пашка, сбегай, голубь, к Лукешке, спроси у ней потихоньку, мол, «тета, каво к тебе привезли?»

— Шибчей беги, чадушка!

На другой день приезжий явился к хуторскому атаману. Федор Маныцков, носивший атаманскую насеку третий год, долго вертел в руках черный клеенчатый паспорт, потом вертел и разглядывал писарь Егор Жарков. Переглянулись, и атаман, по старой вахмистерской привычке, властно повел рукой.

— Живи.

Приезжий откланялся и ушел. Неделю из дома носа не показывал, жил, как сурок в сурчине. Постукивал топором, мастерскую устраивал в летней завалухе — стряпке. Охладел к нему бабий ненасытный интерес, лишь ребятишки дни напролет неотступно торчали над плетнями, разглядывая чужого человека с звериным беззастенчивым любопытством.

V

Григорий с женой выехали пахать за три дня до Покрова. Пантелей Прокофьевич прихворал и, опираясь на костыль, повизгивая от боли ломавшей поясницу, вышел проводить пахарей.

— Энти два улеша вспаши Гришка, што за толокой у Краснова лога.

— Ну-ну. А што под таловым яром дяляна, с энтой как? — шепотом спрашивал перевязавший горло, охрипший на рыболовстве Григорий.

— Посля Покрова. Зараз и тут хватит. Полтора круга¹⁾ под Красным, не жадуи.

— Петро не приедет пособить?

— Они с Дашкой на мельницу поедут. Надо ноне смолоть, а то завозно.

Ильинишна совала Наталье в кофту мягких бурсаков, шептала:

— А вы не долго, не припазднивайтесь.

— Не, маманя, мы рано возвернемся.

— Может, Дуняшку бы взяла погонять быков?

— Управимся и двое.

— Ну, гляди, ягодка. Христос с тобой.

Изгибая тонкий стан под тяжестью вороха мокрой одежды, Дуняшка прошла через двор к Дону полоскать.

— Наташа, милушка, там в Красном логу воробинова щавлю сила, чарви!

— Нарву, нарву.

— Цыц, стрекотуха! — махал Пантелей Прокофьевич костьюем.

Три пары быков потянули по дороге перевернутый запашник, чертя затвердевшую от осеннего сухостоя и бездождья черствую землю. Григорий поминутно поправлял жавший шею платок, шел сбочь дороги, кашлял. Наталья шагала рядом с ним, на спине ее колотился мешок с харчами.

В степи за хутором слыла прозрачная тишина. За толóкой, за сутулым бугром расчесывали землю плугами, свистали погонычи, а тут — над шляхом — голубая проседь низкорослой польни, оципаный овечьими зубами придорожный донник, горюнок, угнутый в богомольном поклоне, да звонкая стеклянная стынь холодеющего неба, перерезанная летающими нитями самоцветной паутины.

Петро с Дарьей, проводив пахарей, собрались на мельницу. Подвесив в амбаре грохот, Петро подвевал пшеницу, Дарья насыпала в мешки и сносила на бричку.

Пантелей Прокофьевич запрет лошадей, заботливо оправил упряжь.

— Скоро, што ль?

— Зараз, — откликнулся из амбара Петро.

На мельнице завозно. Двор густо уставлен подводами. Около вёсов давка. Петро кинул Дарье вожжи и соскочил с брички.

¹⁾ Круг — четыре казенных десятины.

- На мой ярлык скоро? — спросил у стоявшего за весами Валета.
— Успеешь.
— Какой номер смальвают?
— Тридцать восьмой.

Петро вышел сносить мешки. В это время в весовой заругались. Чей-то охрипый, злой голос тявкал:

- Ты проспал, а теперя лезешь? Отойди, хохол, а то клюну!

Петро по голосу угадал Якова-Подкову. Прислушался. В весовой пух, выпирая из дверей, крик.

Четко лязгнул удар, и из дверей с сбитым на затылок черным картузом вывалился немолодой бородатый тавричанин.

- За шо? — крикнул он, хватаясь за щеку.
— Я тебе зоб вырву, мать твою распротак!!
— Нет, погоди!
— Микихвор, суда!

Яков-Подкова (на службе ковал коня, взыврав стукнул тот копытом по лицу Якова, и, проломив нос, разрезав губы, вылегла на лице подкова; овальный шрам зарос, посинел, пятнышками чернели следы острых шипов, от этого и прозвище — Подкова), бравый, плотно сбитый батареец, выбежал из дверей, подсучивая рукава. Сзади его крепко хлобыстнул высокий в розовой рубахе тавричанин. Подкова хитнулся, но на ногах устоял.

- Братцы, казаков бьют!..

Из дверей мельницы на двор, заставленный возами, как из рукава, попеременно посыпались казаки и тавричане, приехавшие целым участком. Свалка завязалась у главного входа. Хряснули двери под напором нахлынувших тел. Петро кинул мешок и, крякнув, мелкими шажками потрусил к мельнице. Привстав на возу Дарья видела, как Петро втесался в середину, валяя подручных, охнула, когда Петра на кулаках донесли до стены и уронили топча ногами. Из-за угла от машинной, размахивая железным болтом, бежал в прискокку Митька Коршунов.

Тот самый тавричанин, который сзади ударил Подкову, вырвался из кучи, за спиной его подбитым птичьим крылом трепыхался оторванный розовый рукав. Низко пригинаясь, чертя руками землю, он добежал до первой повозки и легко вывернул оглоблю. Над мельничным двором тягуче и хрипло плыло.

- Аааааа...
— Гуууу...
— А-я-яа-а-а-а...

Хряск. Стук. Стон. Гуд...

Трое братьев Шумилиных прибежали из дома. Безрукий Алексей упал в калитке, запутавшись ногами в брошенных кем-то вожжах, вско-

чил, запрыгал через сомкнутые дышла повозок, прижимая к животу холостой рукав оторванной левой руки. У брата его Мартина вылезла из белого чулка вобратая штанина, нагнулся, хотел вобрать, но у мельницы всплеснулся вой. Чей-то крик взлетел высоко над покатою крышей мельницы, как взвихренная нитка паутины. Мартин выпрямился и кинулся догонять Алексея.

Дарья смотрела с воза, задыхаясь, ломая пальцы, кругом взвизгивали и выли бабы, беспокойно стригли ушами лошади, взмывкивали, прижимаясь к возам, быки... Мимо проковылял, плямкая губами, бледный Сергей Платонович, под жилеткой круглым яйцом катался живот. Дарья видела, как Митьку Коршунова подкосил оглоблей тавричанин в расшматованной розовой рубахе и сейчас же упал навзничь, выронив расщепленную оглоблю, а на него ступил безрукий Алексей, прислонивший к тавричанскому затылку свой кулак-свинчатку. Перед глазами Дарьи разноцветными лоскутьями мелькали разрозненные сценки побоища: она видела и не удивилась тому, как Митька Коршунов стоя на коленях, резнул железным болтом бежавшего мимо Сергея Платоновича; тот вскинул размахавшимися руками и пополз раком в весовую, его топтали ногами, валили навзничь... Дарья истерически хохотала, ломались в смехе черные дуги ее подкрашенных бровей. Оборвала сумасшедший смех, наткнувшись глазами на Петра: качаясь, выбрался он из колыхавшейся гудевшей гущи и лег под возом, харкая кровью. Дарья метнулась к нему с криком. А из хутора бежали казаки с кольями, один махал пешней. Побоище принимало чудовищные размеры. Дралось не так, как под пьянку у кабака, или в стенках на масляницу. У дверей весовой лежал с проломленной головой молодой тавричанин, разводя ногами окунал голову в черную спекшуюся кровь, кровавые сосульки волос падали на лицо; как видно, отходил свое по голубой веселой земле...

Тавричан, сгрудившихся овечьим гуртом, оттеснили к завозчицкой. Худым бы кончилось дело, если б старик тавричанин не догадался: вскочив в завозчицкую, он выдернул из печи искрящуюся головню и выбежал из дверей. Бежал к сараю, где хранился отмок, тысяча слишком пудов хлеба, из-за плеча его кисеею вился дым, выпархивали тусклые в дневном свете искры.

— Запа-лю-ю-юуу!.. — дико взревел, поднося к камышевой крыше трескучую головню.

Казаки дрогнули и стали. Сухой порывистый ветер дул с востока, относил дым от крыши завозчицкой к куче сгрудившихся тавричан.

Одну добротную искру в сухой слежалый камыш крыши, и дымком схватится хутор...

Гул глухой и короткий тронул ряды казаков. Кое-кто задом отходил к мельнице, а тавричанин, махая головней, сея огненные капли из сизого дыма, кричал:

— Спалю, туды растуды!! Спалю-ю-юууу! Уходи со двора!..

Синий, во многих местах изуродованного своего лица, Яков-Подкова — зачинщик драки — первый покинул мельничный двор. За ним стекли поспешно и скоро.

Тавричане, побросав мешки, запрягли в брички лошадей и, стдя, махая узлами ременных вожжей, полосуя лошадей кнутами вырвались из двора и загрохотали по улице за хутор.

Безрукий Алексей — посереде двора. Мечется по поджарому животу холостой, завязанный в конце рукав рубахи, всегдашней судорогой дергается глаз и щека.

— На конь, казаки!..

— Догнать!..

— Дале гребня не ускачут!..

Митька Коршунов кособочась кинулся было из двора. Заметная суматоха вновь рябью тронула собравшихся у мельницы казаков, но в момент этот от машинной скорыми шагами подошел никем непримеченный раньше, незнакомый, в черной шляпе человек; строгая толпа лезвиями сведенных в кучу остреньких глаз поднял руку.

— Стойте!

— Ты кто такой? — сдвинул танцующие брови Подкова.

— Откель сорвался?

— Узы ево!..

— Га!..

— Тю-ю-ю!..

— Постойте, станичники!..

— Куцый кабель тебе станичник!

— Мужик!

— Лапоть дровяной!

— Дай ему, Яшь.

— По гляделкам ему!.. По гляделкам!..

Человек улыбнулся смущенно, но без боязни, снял шляпу, жестом беспримерной простоты вытирая лоб, улыбкой обезоружил вконец.

— В чем дело? — махнул он сложенной вдвое шляпой, указывая на черную впитанную землей кровь у дверей весовой.

— Хохлов били, — мирно ответил безрукий Алексей и подморгнул щекой и глазом.

— Да за что били?

— За очередь. Не залазь на перед, — пояснил Подкова, выступая вперед и широким взмахом вытирая красную соплю под носом.

— Вложили им память!

— Эх, догнать ба... В степе не зажгешь.

— Сробели, а небось не посмел бы?

— Человек — в отчаянности, зажег бы, как лить дать.

— Хохлы, они огромдно сердитые, — усмехнулся Афонька Озеров.

Человек махнул шляпой в его сторону.

— А ты кто?

Тот презрительно цвиркнул через скважину щербатого рта и, проследив за полетом слюнной петли, отставил ногу.

— Я-то казак, а ты не из цыганев?

— Мы с тобой обое русские.

— Брешешь! — раздельно выговорил Афонька.

— Казаки от русских произошли. Знаешь про это?

— А я тебе говорю — казаки от казаков ведутся.

— В старину от помещиков бежали крепостные, селились на Дону, их-то и прозвали казаками.

— Иди-ка ты, милый человек, своим путем, — сжимая запухшие пальцы в кулак, сдержанно-злобно посоветовал Алексей безрукий и заморгал чаще.

— Сволочь, поселилась!.. Ишь поганка, в мужиков захотел переделывать!..

— Кто это такой? Слышишь, Афанасий?

— Приехал тут какой-та. У Лукешки косой квартирует.

Момент для погони был упущен. Казаки расходились, оживленно обсуждая происшедшую стычку.

.....
Ночью, за восемь верст от хутора, в степи, кутаясь в колючий плотный зипун, Григорий тоскливо говорил Наталье:

— Чужая ты какая-то... Ты, как этот месяц: не холодишь и не греешь. Не люблю я тебя, Наташка, ты не гневайся. Не хотел гутарить про это, да нет, видно, так не прожить... И жалко тебя, кубыгъ, за эти деньки и сроднились, а нету на сердце ничево... Пусто. Вот как зараз в степе...

Наталья глядела вверх на недоступное звездное займище, на тенистое прозрачное покрывало плывущей над ними тучи, молчала. Оттуда с черно-голубой вышней пустоши серебряными колокольцами кликали за собой припозднившиеся в полете журавли.

Тоскливо, мертвенно пахли отжившие травы. Где-то на бутре мерцала кумачная крапинка разложенного пахарями костра...

Перед светом Григорий проснулся. На зипуне на два вершка лежал снег. В мерцающей девственной голубизне свежего снега томилась степь и, четкие, синели возле стана следы плутавшего по первопутку зайца.

VI

С давних пор велось так: если по дороге на Миллерово ехал казак один, без товарищей, то стоило ему при встрече с хохлами (хохлячи слободы начинались от хутора Нижне-Яблоновского и тянулись вплоть до Миллерово на 75 верст) не уступить дорогу, хохлы избивали его. Оттого ездили на станцию по несколько подвод вместе и тогда уж, встречаясь с хохлами в степи, не боялись вступать в перебранку:

— Эй, хохол! Дорогу давай! На казачьей земле живешь, сволочуга, да ишо дорогу уступать не хочешь?

Не сладко бывало и хохлам, привозившим к Дону на парамоновскую ссылку пшеницу. Тут драки начинались без всякой причины, просто потому, что хохол, а раз хохол, — надо бить.

Не одно столетье назад заботливая рука посеяла на казачьей земле семена национальной розни, растила и холила их, и семена гнали богатые всходы: в драках лилась на землю донская, голубая, казачья кровь хозяев и алая воронежских пришельцев — москалей и хохлов. Через две недели после драки на мельнице в хутор приехал становой пристав и следователь.

Штокмана вызвали на допрос первого. Следователь, молодой из казачьих дворян чиновник, роясь в портфеле, спросил:

— Вы где жили до приезда сюда?

— В Ростове.

— В 1907 году за что отбывали тюремное наказание?

Штокман сверкнул хориными глазами по портфелю и косому, в перхоти, пробору на склоненной голове следователя.

— За беспорядки.

— Угу-м... Где вы работали в то время?

— В железнодорожных мастерских.

— Профессия?

— Слесарь.

— Вы не из жидов? Не выкрест?

— Нет. Я думаю...

— Мне не интересно знать, что вы думаете. В ссылке были?

— Да, был.

Следователь поднял голову от портфеля и пожевал выбритыми в пупырышках губами.

— Я вам посоветую уехать отсюда,—и про себя: «Впрочем, я сам постараюсь об этом».

— Почему, господин следователь?

На вопрос вопросом:

— О чем вы имели беседу с местными казаками в день драки на мельнице?

— Собственно...

— А ну, можете быть свободны.

Штокман вышел на терасу моховского дома (у Сергея Платоновича всегда становилось начальство, минувя вз'езжую) и, улыбаясь (а наискось лба лежала скользкая морщина), оглянулся на створчатые крашенные двери.

VII

Зима легла не сразу. После Покрова стаял выпавший снег, и табуны снова выгнали на подножный. С неделю тянул южный ветер, тепло, отходила земля, и ярко доцветала в степи поздняя мшистая зеленка.

Ростепель держалась до Михайлова дня, потом даванул мороз, вывалил снег; день ото дня холод крепчал, подпало еще на четверть снегу, и на кинутых обдонских огородах, через занесенные по маковки плетни, девичьей прошивной мережкой легли петлястые стежки заячьих следов. Улицы обезлюдели. Пластался над хутором кизечный дым, возле кучек рассыпанной сбочь дороги золы закагакали налетевшие к жилью грачи. Сизой выцветшей лентой закривилась по хутору санныя ровень дороги-зимнухи.

На майдане собрался однажды сход. Подходил дележ и порубка хвороста. Толпились у крыльца правления в тулупах и шубах, поскрипывали валенками. Холод загнал в правление. За столом по бокам от атамана и писаря расселись почетные — в серебряной седине бород — старики, помоложе — с разномастными бородами и безбородые — казаки жались в кураготы, брунжали из овчинной теплыни воротников. Писарь крыл бумагу убористыми строками, атаман засматривал ему через плечо, а по находившейся комнате правления приглушенным гудом:

— Сена ноне...

— Во-во... Луговое — корм, а со степи гольный донник.

— Бывалоча, в старину, до Рождества в попасе.

— Калмыкам добро.

— Экхе-м...

— У атамана-то волчий ожерелок, ишь голову не повернет.

— Калкан нажрал, боров-дьявол!

— Тю, сват, аль зиму пужаешь? Тулупишше-то...

— Цыган таперича шубу продал.

— На святках ночуют эта цыгане в степе, а укрываться нечем, бреднем оделся, забрало до тонкой кишки — проснулся цыган, палец-та

в ичейку просунул и матери: «ху, маманя, тутарит, то-то на базу и холодишша!..»

— Упаси бог — сколизь зачнется.

— Быков ковать, не иначе.

— Надьсь рубил я белотал у Чортовой енды, хорош.

— Захар, мотню застегни... Отморозишь — баба с база стонить.

— Гля, Авдеич, ты, што ль, обчествонова бугая правдаешь?

— Отказалси. Паранька Мрыхина взялась... Я, дескать, вдова, все веселей... Владай, говорю, в случай приплод...

— Эхха-ха-ха!

— Гы-гы-гыы!..

— Господа-старики! Как в шет хвороста?.. Тишиши!..

— В случай, говорю, приплод об'явится... кумом, стал-быть...

— Тише! Покорнеше просим!

Сход начался. Атаман, поглаживая запотевшую насеку, выкрикивал фамилии раздатчиков, дымился паром, обдирал мизинцем сосульки с бороды. Сзади у хлопающей двери — пар, давка, звучные хлопки сморканий.

— В четверг нельзя назначать порубку! — старался перекричать атамана Иван Томилин и тер пунцовые уши, кособоча голову в синей артиллерийской фуражке.

— Как так?

— Ухи оторвешь, пушкарь!

— Мы ему бычьиные пришьем.

— В четверг половина хутора за сеном на отвод собираются. Эк, рассудили!..

— С воскресенья поедешь.

— Господа-старики!..

— Чево там!

— В добрый час!..

— Гу-у-у-у-у!..

— Го-го-го-ооо!..

— Га-а-а-аа.

Старик Матвей Кашулин, перегибаясь через шаткий стол, запальчиво взвизгивал, тыкал в сторону Томилина ясеневым гладким костылем.

— Погодишь с сеном!.. Небось!.. Как обчество... Ты сроду поперек становишься. Молодой дурак, братец ты мой!.. Вот! Ишь ты!.. Вот!

— Ты сам до старости ума в соседях занимаешь... — выпячивал голову из задних рядов, частил безрукий Алексей, примаргивая глазом, судорожно дергая дырявой щекой.

Он шесть лет враждовал с стариком Кашулиным из-за клочка перепаханной земли. Бил его каждую весну, а земли захватил у него Матвей Кашулин с воробьиною четверть,—закмурившись, переплюнуть можно.

— Замолчь, судорга!

— Жалкую, што далеко, отсель не достану, а то я бы тебя тыкнул, аж красную соплю б уронил!

— Ишь ты, мать твою, моргун косорукий!

— Цыцте вы, связались!..

— Вон, на баз, там и склещитесь.. Право...

— Брось, Алексей, вишь старик наежился, ажник папах на голове шевелится.

— А он што ж...

— Завтра в уху ему нассы, а зараз помалкивай!

— В тигулевку их, какие скандалничают!..

Атаман плюснул кулак в пискнувший стол.

— Зараз сидельцев позову! Молчать!

Смолкая, гул прошелся до задних рядов и заглох.

— В четверг, как рассветится, выезжать на порубку.

— Как вы, господа-старики?

— В добрый час!

— Давай бог!

— Ноне стариков не дюжа слушают...

— Небось будут слушать. Аль управу не сыщем? Мой Алексашка, как отделил ево, было-к в драку кинулся, за грудки хватался. Я ево доразу секанул: «зараз же заявляю атаману и старикам — выпорем»... Посмирнел, слег, как травина под полой водой.

— А ишо, господа-старики, получена от станишнова атамана распоряжения,— атаман перевел голос и покрутил головой: стоячий воротник мундира, задирая подбородок, врезался ему в шею. — В энтую субботу в станицу молодым на присягу. Штоб к вечеру были у станишнова правления.

У крайнего к двери окна Пантелей Прокофьевич, по-журавлиному поджимая хромую ногу, стоял рядом с сватушкой. Мирон Григорьевич в распахнутом тулупе сидел на подоконнике, улыбался, морщина глаза, в гнедую бороду. На коротких белесых ресницах его пушился иней, коричневые крупные конопины налились от холода кровью, посерели. Около них перемигиваясь, улыбаясь толпились казаки помоложе, а в середине, сдвинув на плоский лысеющий затылок синеверхнюю, атаманскую, с серебряным перекрестом папаху, покачивался на носках одногодок Пантелея Прокофьевича, не стареющий, вечно налитой, как яблоко антоновка, румянцем Авдеич, по кличке «Брех».

Служил Авдеич когда-то в лейб-гвардии атаманском полку. На службу пошел Синилиным, а вернулся... Брехом.

Он первый из хутора попал в атаманский полк, и диковинное поделалось с казаком: рос парнем, как и все; водилась за ним с малых лет малая придурь, а со службы пришел и пошло колесом под гору. С первого же дня, как только вернулся, начал рассказывать диковинные истории про службу свою при царском дворце и про свои необыкновеннейшие в Петербурге приключения. Ошалелые слушатели сначала верили, разинув рты, принимали на совесть, а потом и открылось, что врал Авдеич, каких хутор с основания своего не выдывал. Над ним смеялись в открытую, но он не краснел, уличенный в чудовищных своих измышлениях (а может и краснел, да за всегдашним румянцем не разобрать), но врать не переставал. Под старость вовсе свихнулся. Припрут к стене — обидится, в драку лезет, а молчат, посмеиваются — горит в небывальщине, насмешек не замечает.

Был в хозяйстве дельный и работящий казак, делал все с рассудком, кой-где и с хитринкой, а когда касался разговор атаманской его службы... тут уже всяк прост руками разводил, приседая на землю от хохота, выворачивавшего нутро.

Авдеич стоял в середине, качался на растоптанных в круглышок валенках, оглядывая толпившихся казаков, говорил веско и басовито.

— Ноне казак совсем отменитый. Мелкий казак и никудышный. Возгрей — любовь на двое перешибешь. Так, словом, — и презрительно улыбаясь, придавил валенком плевок. — Мне довелось в станице Вешенской поглядеть на мертвые костяки, вон было казачество — это да...

— Иде же раскопал их, Авдеич? — спросил голощекий Аникушка и толкнул локтем соседа.

— Ты, односум, уж не бреши ради близкова праздника. — Сморщил Пантелей Прокофьевич горбатый нос и дернул в ухе серьгу. Он не любил пустобреха.

— Я, брат, сроду не брешу, — внушительно сказал Авдеич с удивлением оглядывая Аникушку, дрожавшего, как в лихорадке. — А видал мертвячи кости, как дом строили мому шурина. Зачали фундамент класть, отрыли могилу. Стал-быть, в старину тут у Дона, возле церкви и кладбища были.

— Што ж костяки-то? — недовольно спросил Пантелей Прокофьевич, собираясь уходить.

— Ручина, — во, — развел Авдеич граблястые руки, — голова, ей-богу не брешу, с польский котел.

— Ты, Авдеич, лучше рассказал бы молодым, как ты в Санкт-Петербурге разбойника споймал,— предложил Мирон Григорьевич и встал с подоконника, запахивая тулуп.

— Што там рассказывать-то,— заскромничал Авдеич.

— Расскажи!

— Просим!

— Сделай честь, Авдеич!

— Оно видишь как случилось,— откашлялся Авдеич и достал из шаровар кисет. Высыпав на скрюченную ладонь щепоть табаку, кинул в кисет вывалившиеся оттуда два медяка, обвел слушателей счастливыми глазами:— Из крепости убег зарестованный злодей. Туды-сюды искать — нету. Вся власть с ног сбилась. Пропал во взят и шабаш! Ночью призывает меня караульный офицер, прихожу... да-а... «Иди, говорит, в покои ихнева императорского величества, тебя... сам государь-император требует». Я, конечно, оробел, вхожу. Стал во фронт, а он, милостивец, ручкой меня по плечу похлопал и говорит: «Вот што, говорит, Иван Авдеич, убег первый для нашей империи злодей. В землю заройся, а сыщи, иначе и на глаза не являйся!» «Слушаюсь, ваше императорское величество» — говорю. Да-а-а... братцы мои, была мне закрутка... Взял я из царской конюшни тройку первеющих коней и маршмаршем. — Авдеич, закуривая, оглядел потупленные головы слушателей и одушевляясь загремел из висячего облака дыма, закутавшего его лицо: — День скачу, ночь скачу. Аж на третьи сутки под Москвой допнал. В карету ево, любушку, и тем следом обратно. Приезжаю в полночь, весь в грязи и прямо иду к нему. Меня это разные-подобные князья с графьями не пускать, а я иду. Да... Стучусь. «Дозвольте, ваше императорское величество, войтить». «А это кто таков?» — спрашивает. — «Это я, говорю, Иван Авдеич Синилин». Поднялась там смятенья, — слышу сам кричит: «Марея Федоровна, Марея Федоровна! Вставай скорей, ставь самовар, Иван Авдеич приехал!»

Гроном лопнул в задних рядах смех. Писарь, читавший об'явления о пропавшем и прибудившемся скоте, споткнулся на фразе «левая нога по щиколку в чулке». Атаман гусаком вытянул шею, рассматривая колыхавшуюся в хохоте толпу.

Авдеич сдернул папаху, хмурясь растерянно перебежал глазами с одного на другого.

— Погодите!

— Охо-ха-ха-ха!..

— Ох, сме-е-ертынь-ка!..

— Гык-гык-гы-ы-ык!..

— Авдеич, кобель лысый, ох-охо!..

— Ставь само-о-вар. Авдеич приехал! Ну и ну!

Сход начал расходиться. Тягуче беспрерывно стонали досчатые промерзшие порожки крыльца. На затоптанном у правления снегу топтались, согреваясь в борьбе, Степан Астахов и высокий голенастый казак — хозяин ветряка голландки.

— Через голову мирошника! — советовали окружившие их казаки. — Вытряси из него отрубя, Степка!

— Ты под силы-та не перехватывай! Догадлив дюже, ишь! — горячился подскакивая по-воробыному старик Кашулин и в увлечении не замечал ядреной светлой капли, застенчиво повиснувшей на пипке его сизого носа.

VIII

Пантелей Прокофьевич вернулся со схода и прямо прошел в боковушку — комнату, которую он занимал со старухой. Ильинишна эти дни прихварывала. На водянисто пухлом лице ее виднелись усталость и боль. Она лежала на высоко взбитой перине, привалаясь спиной к подушке, поставленной сторчмя. На туп знакомых ей шагов повернула голову, с давнишней прижившейся на лице суровостью глянула на мужа, остановила взгляд на мокрых от дыханья завитках бороды, теснивших рот Прокофьевича, на слежалые, влитые в бороду влажные усы, двинула ноздрями, но от старика нанесло морозом, кислым душком оччины. «Тверезый ноне» подумала и, довольная, положила на пухлый свой живот чулок с иглами и недовязанной пяткой.

— Што ж порубка?

— В четверг порешили, — разгладил усы Прокофьевич. — В четверг с утра, — повторил он, присаживаясь рядом с кроватью на сундук.

— Ну, как? Не легчает все?

На лицо Ильинишни тенью легла замкнутость.

— Так же. Стреляет в суставы, ломит...

— Говорил, дуре, не лезь в воду осенью. Раз знаешь за собой беду — не рыпайся! — вскипел Прокофьевич, чертя по полу костылем широкие круги. — Аль мало баб? Будь они трижды прокляты твои конопи: помочила, а теперя... Божже-жж мой, то-то... Эх!

— Конопям тоже не пропадать. Баб не было — Гришка с своей пахал, Петро с Дарьей иде-то ездили.

Старик, дыша на сложенные ладони рук, нагнулся к кровати:

— Наташка как?

Ильинишна оживилась, заговорила с заметной тревогой.

— Што делать, не знаю... Надьсь опять кричала. Вышла я на баз, гляжу дверь амбарную расхлебнил кто-то. Сем-ка пойду притворю, думаю. Взшла, а она у просянова закрома стоит. Я к ней, «чево, ты,

чево касатка?», а она: «голова што-то болит, маманя». Правды ить не добьешься.

— Может, хворая?

— Ды-к нет, пытала... Либо порчу напустили, либо с Гришкой чево...

— Он к этой.. случаем не прибивается опять?

— Што ты дед! Што ты! — испуганно всплеснула руками Ильинишна. — А Степан, аль глупой? Не примечала, нет.

Старик посидел немного и вышел. Григорий в своей горнице подтачивал напилком крюки на нарезных снастях. Наталья смазывала их свиным растопленным жиром и аккуратно заворачивала каждый в отдельную тряпочку. Пантелей Прокофьевич, похрамывая мимо, пытливо глянул на Наталью. На пожелтевших щеках ее, как на осеннем листке, чах неяркий румянец. Она заметно исхудала за этот месяц, и в глазах появилось что-то новое, жалкое. Старик остановился в дверях. «Эк, выхолил бабу!» подумал, еще раз взглянув на склоненную над лавкой, гладко причесанную голову Натальи. Григорий сидел над окном, дергая напилком, на лбу его черной спутанной челкой прыгали волосы.

— Брось к чертовой матери!.. — багровея от приступившего бешенства шумнул старик и сжал костыль, удерживая руку. Григорий вздрогнул недоумевая поднял на отца глаза.

— Хотел вот два конца сточить, батяня.

— Брось, тебе велят! На порубку собирайся!..

— Я зараз.

— Притык в саях ни одной нету, а он — крючья, — уже спокойнее проговорил старик и, потоптавшись около дверей (как видно, еще что-то хотел сказать), вышел. Остаток злобы сорвал на Петре. Григорий, одевая полушубок, слышал, как отец кричал во дворе:

— Скотина до се непоеная, чево ж ты глядишь, такой-сякой?.. А это кто прикладок, што возле плетня, расчал? Кому гутарил, штоб не трогали крайнева прикладка? Потравите, проклятые, самое доброе сено, а к весне в пахоту чем быков будешь правдать?..

В четверг, часа за два до рассвета Ильинишна разбудила Дарью.

— Вставай. Пора затоплять.*

Дарья в одной рубашке кинулась к печке. В конурке нашарила серники, зажгла огонь.

— Ты поскорей стряпайся, — торопил жену взлохмаченный Петро, закуривая и кашляя.

— Наташку-то жалеют будить, дрыхнет бессовестная. Што ж я на-двое должна разорваться, — бурчала заспанная, сердитая с просонок Дарья.

— Поди разбуди, — советовал Петро.

Наталья встала сама. Накинув кофту, вышла в катух за кизяками.

— Поджожек принеси! — командовала старшая сноха.

— Дуняшку пошли за водой, слышь, Дашка? — с трудом передвигая по кухне ноги хрипела Ильинишна.

В кухне пахло свежими хмелинами, ременной сбруей, теплом человеческих тел. Дарья бегала, шаркая валенками, грохотала чугунами, под розовой рубашкой, с засученными по локоть руками, трепыхались маленькие груди. Замужняя жизнь не изжелтила, не высушила ее: высокая, тонкая, гибкая в стану, как красноталовая хворостина, была она похожа на девушку. Вилась в походке, перебирая плечами, на окрики мужа посмеиваясь, под тонкой каймой злых губ плотно просвечивали мелкие частые зубы.

— С вечеру надо было кизеков наложить. Они б в пече подсыхли, — недовольно бурчала Ильинишна.

— Забыла, мамаша. Наша беда, — за всех отвечала Дарья.

Пока отстряпались — рассвело. Пантелей Прокофьевич, обжигаясь жидкой кашей, спешил позавтракать. Хмурый Григорий жевал медленно, гоня по-над скулами комки желваков. Петро потешался незаметно для отца передразнивая Дуняшку, завязавшую от зубной боли щеку.

По хутору скрипели полозья саней. В серой рассветной мари двигались к Дону бычьи подводы. Григорий с Петром вышли запрягать. На ходу заматывая мягкий шарф — невестин жениху подарок, — Григорий глотал морозный и сухой воздух. Горловой, полнозвучный крик уронил пролетая над двором ворон. Отчетливо в морозной стыни слышен шелест медленных в взмахах крыльев. Петро проследил за полетом, сказал:

— К теплу, на юг правится.

За розовеющим, веселым, как девичья улыбка, облачком, маячил в небе тоненький, тоненький краешек месяца. Из трубы дыбом вставал дым и безрукий тянулся к недоступно далекому, золотому, оточенному лезвию молодого месяца.

Против мелеховского двора Дон не замерз. По краям зеленоватый в снежных переносах креп лед, под ним ластилась, пузырилась не захваченная стремем вода, а подалее середины, к левому берегу, где из черноты били ключи, грозная и манящая чернела польнья в белых снежных заедях; по ней черными конопушками перенерывали оставшиеся на зимовку дикие утки.

Переезд шел от площади.

Пантелей Прокофьевич, не дождавшись сыновей, первый поехал на старых быках, Петро с Григорием, поотстав, выехали следом. У спуска догнали Аникушку. Воткнув в ручищу топор с новехоньким топорищем, Аникушка, подпоясанный зеленым кушаком, шел рядом с быками.

Жена его, мелкорослая, хворающая бабенка, правила быков. Петро еще издали крикнул:

— Сосед, ты, никак, бабу волокешь с собой?

Смешливый Аникушка приплясывая подошел к саням.

— Везу, везу. Для сугреву.

— Тепла от ней мало, суха дуже.

— Овсом кормлю, а вот не поправляется.

— Нам в одной деляне хворост? — спросил Григорий, соскочив с своих саней.

— В одной, ежели закурить дашь.

— Ты, Аникей, сроду на чужбинку.

— Ворованное да выпрошенное всево слаже, — подхакивал Аникушка, морщина голое бабье лицо улыбкой.

Поехали вместе. В лесу, завешенном кружевным инеем, строгая бель. Аникушка ехал передом, щелкая кнутом по нависшим над дорогой веткам. Снег, игольчатый и рыхлый, падал гроздьями, осыпая закутанную аникушкину жену.

— Не дури, чорт! — кричала она отряхиваясь.

— Ты ее в сугроб носом! — кричал Петро, норовя попасть быку под пузо, для лучшего хода. На повороте к Бабьим ендовам наткнулись на Степана Астахова. Он гнал распряженных в ярме быков к хутору, размашисто шел, поскрипывая подшитыми валенками. Курчавый, обиневший чуб его висел из-под надетой на бекрень папахи белой виноградной кистью.

— Эй, Степа, заблудил? — крикнул ровняясь Аникушка.

— Заблудил, мать его чорт!.. Об пенек вдарило сани под раскат — полоз пополам. Пришлось вернуться. — Степан добавил похабное словцо и прошел мимо Петра, нагло щуря из-под длинных ресниц светлые разбойные глаза.

— Сани бросил? — оборачиваясь крикнул Аникушка.

Степан махнул рукой, щелкнув кнутом, заворачивая направившихся по целине быков, и проводил шагавшего за санями Гришку долгим взглядом. Неподалеку от первой енды Григорий увидел брошенные середь дороги сани, около саней стояла Аксинья. Левою рукой придерживая полу донской шубы, она глядела на дорогу, навстречу двигавшимся подводам.

— Отойди, а то стопчу. Ух, ты жена не моя!.. — заржал Аникушка. Аксинья улыбаясь посторонилась, присела на скособоченные без полоза сани.

— Вон и твоя с тобой сидит.

— Влепилась, как репей в свинячий хвост, а то бы я тебя подвез.

— Спасибочка.

Петро, ровняясь с ней, мельком оглянулся на Григория, ехавшего последним. Тот шел неспокойно улыбаясь, тревога и ожидание сквозили в каждом его движении.

— Здорово живешь, соседка, — поздоровался Петро, касаясь рукавицей шапки.

— Слава богу.

— Обломались, никак?

— Обломались, — протяжно ответила Аксинья, не глядя на Петра, и встала, поворачиваясь к подходившему Григорию.

— Григорь Пантелевич, сказать бы вам нужно...

Григорий свернул к ней, сказал отъезжавшему Петру:

— Наглядай за моими быками.

— Ну-но, — прязно усмехнулся Петро, заправляя в рот горький от табачного дыма ус.

Они стояли друг против друга, молчком. Аксинья тревожно глядела по сторонам, переводила влажные черные глаза на Григория. Стыд и радость выжигали ей щеки, сушили губы. Она дышала короткими частыми вздохами.

Сани Аникушки и Петра скрылись за коричневой порослью дубняка. Григорий в упор поглядел Аксинье в глаза, увидел, как вспыхнули они балованным отчаянным огоньком.

— Ну, Гриша, как хошь, жить без тебя моченьки нету, — твердо выговорила она и накрепко сжала губы, ожидая ответа.

Григорий молчал. Тишина обручем сковала лес. Звенело в ушах от стеклянной пустоты. Притертый полозьями глянец дороги, серая ветошь неба, лес немой, смертно сонный... Внезапный клекочущий и близкий крик ворона словно разбудил Григория от недолгой дремы. Он поднял голову, увидел: вороненая, в черной синеве оперенья птица, поджав ноги, в беззвучном полете прощально махает крыльями. Неожиданно для самого себя Григорий сказал:

— Тепло будет. В теплую сторону летит, — и, встрепенувшись, хрипло засмеялся, — ну... — он воровски повел низко опущенными зрачками опьяневших глаз и рывком притянул к себе Аксинью.

IX

Вечером у косой Лукешки в половине Штокмана собирался разный люд: приходил Христоня, с мельницы Валет, в накинутах на плечи замасляном пиджаке, скалозуб Давыдка, бывший три месяца баклуши, машинист Котляров Иван Алексеевич, изредка наведывался Филька чеботарь, и постоянным гостем был Мишка Кошевой, еще не ходивший на действительную, молодой казак.

Резались сначала в подкидного дурака, потом как-то незаметно подсунул Штокман книжонку Некрасова. Стали читать вслух, понравилось. Перешли на Никитина, а около Рождества предложил Штокман почитать затрепанную, гнусного вида, беспереплетную тетрадку. Кошевой, окончивший когда-то церковную школу, читавший вслух, пренебрежительно оглядел промасленную тетрадь.

— Из нее лапши нарезать. Дуже жирная. — Христоня гулко захохотал, ослепительно блеснул улыбкой Давыдка, но Штокман, переждав общий смех, сказал:

— Почитай, Миша. Это про казаков. Интересная.

Кошевой, свесив над столом золотистый чуб, отдельно прочел:

— Краткая история донского казачества, — и оглядел всех выжидающе щурясь.

— Читай, — приказал Иван Алексеевич.

Мусолили три вечера. Про Пугачева, про вольное житье, про Стеньку Разина и Василия Булавина.

Добрались до крайних времен. Доступно и зло безвестный автор высмеивал скудную казачью жизнь, издевался над порядками и управлением, над царской властью и над самим казачеством, нанявшимся к монархам в опричники. Заволновались. Заспорили. Загудел Христоня, подпирая головой потолочную матку. Штокман сидел у дверей, курил из костяного с колечками мунштука, смеялся одними глазами.

— Правильно! Справедливо! — бухал Христоня.

— Не сами виноваты, довели до такой страмы казаков, — недоменно разводил руками Кошевой и морщил красивое темноглазое лицо.

Был он коренаст, одинаково широк в плечах и в бедрах, оттого казался квадратным: на чугунно крепком устое сидела плотная в кирпичном румянце шея, и странно выглядела на этой шее красивая в посадке небольшая голова с женским очертанием матовых щек, маленьким упрямым ртом и темными глазами под золотистой глыбой курчавых волос. Машинист Иван Алексеевич, высокий маслаковатый казак, спорил ожесточенно. Всосались и проросли сквозь каждую клетку его костистого тела казачьи традиции. Он вступился за казаков, обрушиваясь на Христоню, сверкая выпуклыми круглыми глазами.

— Ты обмужичился, Христан, не спорь, што там... В тебе казачьей крови на ведро — поганая капля. Мать тебя с воронежским яишником прижила.

— Дурак ты!.. Э, дурак, братец! — басил Христоня, — я правду отстаиваю.

— Я в атаманском полку не служил, — ехидничал Иван Алексеевич, — это в атаманском, што ни дядя, то дурак...

— И в армейских попадаются такие, што невпроворот.

— Молчи уж, мужик!

— А мужики, аль не люди?

— Так они и есть мужики, из лыка деланные, хвостом скляченные.

— Я, брат, как в Петербурге служил — разных видал. Был, стал-быть, такой случай, — говорил Христоня, в последнем слове деля ударение на «а», — несли мы охрану царского дворца, в покоях часы отбивали и снаружи. Снаружи над стеной верхи ездили: двое туда, двое сюда. Встренутся, спрашивают: «Все спокойно? Нету никаких бунтов?» — «Нету ничего», — и раз'езжаются, а штоб пристать, поговорить и не моги. Тоже и личности подбирали, становют, стал-быть, в дворях двоих, так подгоняют, штоб похожи один на одново были. Черные, так черные стоят, а белявые, так белявые. Не то, што волосья, а штоб и обличьем были схожи. Мне, стал-быть, раз цирульник бороду красил из-за этих самых глупостей. Припало в паре стоять с Никифором Мещеряковым, — был такой казачок в нашей сотне, Тепекинской станицы, — а он, дьявол, какой-то гнедой масти. Чума ево знает, што за виски, кубыть, аж полымем схваченные. Искать-поискать, стал-быть, нету такой масти в сотнях, мне сотник Баркин, стал-быть, и говорит: «Иди в цирульню, штоб в миг подрисовал бороду и усы». Прихожу, ну, и выкрасили... Я как глянул в зеркалу, ажник сердце захолонуло: горю! Чисто горю и все! Возьму бороду в жменью, кубыть, аж пальцам горячо. Во!..

— Ну, Емеля, понес без колес! Об чем начал гутарить? — перебил Иван Алексеевич.

— Об народе, вот об чем.

— Ну, и рассказывай. А то об бороде своей, на кой она клеп нам спонадобилась.

— Вот я и говорю: припало раз верхи несть караул. Едем так-то с товарищем, а с угла студенты вывернулись. И видимо и невидимо! Увидали нас, как рывкнут — «Га-аа-а-а-а!» Да ишо раз — «Га-а-а-а-а!» Не успели, стал-быть, мы вспапашиться — окружили. «Вы чево, казаки, раз'езжаете?» — Я и говорю: «Несем караул, а ты поводи-то брось, не хватай!» — и за шашку. А он и говорит: «Ты, станишник, не сумневайся, я сам Каменской станицы рожак, а тут учење прохожу в нивирси... ниворситуте», али как там. Тут мы трогаем дале, а один носатый из портманета вынает десятку и говорит: «Выпейте, казаки, за здоровье мово покойнова папаша». Дал нам десятку и достал из сумки патрет: «Вот, гутарит, папашина личность, возьмите на добрую память». Ну, мы взяли, совестно не взять. А студенты отошли и опять: «га-а-а-а». С тем, стал-быть, направились к Невскому проспекту. Из дворцовых

задних ворот сотник с взводом стремять к нам. Подскочил: «Што такое?» — Я, стал-быть, говорю: «Студенты отхватили и разговор начали, а мы по уставу хотели их в шашки, а потом, как они ослобонили нас, мы от'ехали, стал-быть». Сменили нас, мы вахмистру и говорим: «Вот, Лукич, стал-быть, заработали мы десять целковых и должны их пропить за упокой души вот этого деда» — и показываем патрет. Вахмистр вечерком принес водки и гуляли мы двое суток, а посла и об'явился подвох: студент этот, стерва носатая, замест папаши и дал нам патрет заглавнова смутьяна немецкова роду. Я-то взял на совесть, над кроватью для памяти повесил, вижу — борода седая на патрете и собою подходящий человек, наврде из купцов, а сотник, стал-быть, доглядел и спрашивает: «Откель взял этот патрет, такой сякой?» Так и так, говорю. Он и зачал кастерить, и по скуле, да ишо, стал-быть, раз... «Знаешь, ореть, што это — атаман ихний Карла»... — вот запамятовал прозвищу... Э, да как ево, дай бог памяти...

— Карл Маркс? — подсказал Штокман, ежась в улыбке.

— Во-во!.. Он самый, Карла Марс... — обрадовался Христоня. — Ить подвел под монастырь, мать ево об пенек! Иной раз так што к нам в караульную и цесаревич Алексей прибегал со своими наставленниками. Ить могли доглядеть, што б было?..

— А ты все мужиков хвалишь. Ишь как тебя подковали-то, — подсмеивался Иван Алексеевич.

— Зато десятку пропили. Хучь за Карлу за бородатова пили, а пили.

— За него следует выпить, — улыбнулся Штокман и поиграл колечками костяного обкуренного мундштука.

— Што ж он навершил доброва? — спросил Кошевой.

— В другой раз расскажу, а сегодня поздно, — хлопнул Штокман ладонью, выколачивая из мундштука потухший окурок.

В завалухе Лукешки косой после долгого отсева и отбора образовалось ядро человек в десять казаков. Штокман был сердцевиной. Упрямо двигался он к одному ему известной цели. Точил, как червь древесину, нехитрые понятия и навыки, внушал к существующему строю отвращение и ненависть. Вначале наткнулся на холодную сталь недоверия, но не отходил, а прогрызал...

Положил личинку недовольства. И кто бы знал про то, что через четыре года выпростается из одряхлевших стенок личинки этой крепкий и живущий зародыш?

Х

На пологом песчаном левобережьи, над Доном, лежит станица Вешенская. Старейшая из верховых донских станиц, перенесенная с места

разоренной при Петре I Чигонацкой станицы; переименованная в Вешенскую. Вехой была когда-то по большому водному пути — Воронеж — Азов.

Против станицы выгинается Дон кабаржиной татарского сагайдака, круто заворачивает вправо и над хутором Базки вновь величаво прямится, несет зеленоватые, просвечивающие голубизной воды над меловыми отрогами правобережных гор, мимо сплошных с правой стороны хуторов, мимо редких с левой стороны станиц до моря, до синего Азовского.

Против Усть-Хоперской роднится с Хопром, против Усть-Медведицкой — с Медведицей, а ниже стекает многоводный, в буйном цвету заселенных хуторов и станиц.

Вешенская вся в засыпи желтопесков. Невеселая, плешивая, без садов станица. На площади — старый, посеревший от времени собор, шесть улиц разложены вдоль по течению Дона. Там, где Дон выгинаясь уходит от станицы к Базакам, рукавом в заросли тополей отходит озеро, шириной с Дон в мелководье. В конце озера кончается и станица. На маленькой площади, заросшей иглисто-золотой колючкою, — вторая церковь, зеленые купола, зеленая крыша, — под цвет зеленам разросшихся по ту сторону озера тополей.

А на север за станицей шафранный разлив песков, чахлая посадка сосняка, енды, налитые розовой, от красноглинной почвы, водой. И в песчаном половодье, в далекой россыпи зернистых песков редкие острова хуторов, ливад, рыжеющая щетина талов.

На площади, против старой церкви, в декабрьское воскресенье — черная полутысячная толпа молодых казаков со всей станицы. В церкви отходила обедня, зазвонили к «достойно». Старший урядник — бравый престарелый казак с нашивками за сверхсрочную службу — скомандовал «строиться». Гомонившая толпа растеклась и выстроилась в две длинные неровные шеренги. Над рядами забегали урядники, выравнивая волнисто-изломанные шеренги.

— Ряды-ы, — затянул урядник и, сделав рукой неопределенный жест, кинул, — вздой!..

В ограду прошел атаман, одетый по форме, и в новенькой офицерской шинели, в перезвоне шпор, следом за ним — военный пристав.

Григорий Мелехов стоял рядом с Коршуновым Митькой, переговаривались вполголоса.

— Сапог ногу жмет, терпенья нету.

— Терпи, атаманом будешь.

— Зараз поведут.

Словно в подтверждение старший урядник, пятясь назад, крутнулся на каблуках.

— На прэ-э-во!

Гук-гук, — четко сделали пятьсот пар обутых ног.

— Левое плечо вперед, ша-гом арш!

Колонна врезалась в распахнутую калитку церковной ограды, замелькали сдернутые с голов папахи, до самого купола налилась церковь стуком шагов.

Григорий стоял, не вслушиваясь в слова присяги, которую читал священник. Он вглядывался в лицо Митьки, тот морщился от боли и переставлял скованную сапогом ногу. Поднятая кверху рука Григория затекала, в уме вразброд шла утарная возня мыслей. Подходил под крест и, целуя обслонявленное многими ртами влажное серебро, думал о Аксинье, о жене. Как вспышка зигзагистой молнии, перерезало мысли короткое воспоминанье: лес, бурые стволы деревьев в белом пышном уборе, как в нарядной серебряной шляпе; влажный горячий блеск черных, из-под пухового платка, аксиньинных глаз...

Вышли на площадь. Вновь построились. Урядник, высморкавшись и незаметно вытирая пальцы о подкладку мундира, начал речь:

— Теперя вы уже не ребята, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, што и к чему. Теперича вы произросли в казаков, и должны вы честь свою соблюдать, отцов-матерей слушать и все такое прочее. Были ребятами — дуркавали, небось на дорогу чурбаки тягали, а после этова должны подумать о дальнеющей службе. Вот через год итить вам в действительную, — тут урядник сморкнулся опять, стряхнул с ладони содержимое и, натягивая на руку пышную из трусового пуха перчатку, закончил: — и должен ваш отец-мать подумакивать об справе. Штоб коня строевова приобрести, ну и воопче... А теперича с богом, молодцы, по домам.

Григорий с Митькой дождались у моста хуторных ребят и вместе тронулись в дорогу. Шли над Доном. Над хутором Базки таял трубный дым, тонко отзванивал колокол. Митька хромал сзади всех, опираясь на суковатый выломанный кол.

— Разуйся, — посоветовал один из ребят.

— Ногу обморожу, — приотставая заколебался Митька.

— В чулке пойдешь.

Митька сел на снег, с усилием стянул с ноги сапог. Пошел, припадая на разутую ногу. На хрушком снегу дороги ясно печатался след вязаного крючком толстого чулка.

— Какой дорогой пойдешь? — спросил низенький чурбаковатый Алексей Бешняк.

— Над Доном, — за всех ответил Григорий.

Шли, переговариваясь, толкая один другого с дороги.

По уговору валяли в сугроб каждого и давили, наваливаясь кучей. Между Базками и Громковским хутором Митька первый увидел перебиравшегося через Дон волка.

— Ребята, бирюк вон он!.. Тю!..

— А лю-лю-лю-лю-лю!..

— Ух!..

Волк ленивой перевалкой пробежал несколько сажен и стал боком, неподалеку от того берега.

— Узы ево!..

— Га!..

— Тю, проклятый!..

— Митрий, это он на тебя дивуется, што ты в чулке идешь.

— Ишь стоит боком, ожерелок не дозволяет..

— Он вязы не скрутит.

— Гля, гля, пошел!..

Серый, как выточенный из самородного камня, стоял зверь, палкой вытянув хвост. Потом торопко скакнул в сторону и потрусил к талам, окаймлявшим берег.

Смеркалось, когда добрались до хутора. Григорий по льду дошел до своего проулка, поднялся к воротцам. Во дворе стояли брошенные сани, в куче хвороста, наваленного возле плетня, чулокали воробьи. Тянуло жильем, пригоревшей сажей, парным запахом скотиньего база.

Поднимаясь по крыльцу Григорий взглянул в окно.

Тускло желтила кухню висячая лампа, в просвете стоял Петро, спиной к окну. Григорий обмел сапоги веником, вошел в облаке пара в кухню.

— Вот и я. Ну, здорово живете.

— Скоро ты. Небось прозяб? — отозвался суетливо и поспешно Петро.

Пантелей Прокофьевич сидел, облокотившись на колени, опустив голову. Дарья гоняла ногой жужжащее колесо прялки. Наталья стояла у стола к Григорию спиной, не поворачиваясь. Кинув по кухне беглый взгляд, Григорий остановил глаза на Петре. По лицу его, беспокойно выжидающему, понял, что что-то случилось.

— Присягнул?

— Ага!

Григорий раздевался медленно, выигрывая время, быстро перебирая в уме возможные случайности, виною которых эта тишина и холодноватая встреча.

Из горницы вышла Ильинишна, и на ее лице лежала печать некоторого смятения.

«Наталья», — подумал Григорий, садясь на лавку рядом с отцом.

— Собери ему повечерять, — обращаясь к Дарье, указала мать глазами на Григория.

Дарья оборвала прялочную песню и пошла к печке, неувовимо поводя плечами, всем своим тонким не бабыим станом. В кухне пригложла тишина. Возле подземки ¹⁾ посапливая грелась недавно окотившаяся коза с козленком.

Григорий, хлебая щи, изредка взглядывал на Наталью, но лица ее не видел, она сидела к нему боком, низко опустив над вязальными иглами голову. Пантелей Прокофьевич первый не выдержал общего молчания; кашлянув скрипуче и деланню, сказал:

— Наталья вот собирается уходить.

Григорий собирал хлебным катышком крошки, молчал.

— Это через чево? — спросил отец, заметно подрагивая нижней губой (первый признак недалекой вспышки бешенства).

— Не знаю, через чево, — прижмурил Григорий глаза и, отодвинув чашку, встал крестясь.

— А я знаю!.. — повысил голос отец.

— Не шуми, не шуми, — вступилась Ильинишна.

— А я знаю, через чево!..

— Ну, тут шуму заводить нечево, — Петро подвинулся от окна на середину комнаты, — тут дело полюбовное, хочет — живет, а не хочет — ступай с богом.

— Я ее не сужу. Хучь и страмно и перед богом грех, а я не сужу, не за ней вина, а вот за этим сукиным сыном!.. — указал Пантелей Прокофьевич на прислонившегося к печке Григория.

— Кому я виноват?..

— Ты не знаешь за собой?.. Не знаешь, чертяка?..

— Не знаю.

Пантелей Прокофьевич вскочил, повалив лавку, и подошел к Григорию вплотную. Наталья выронила чулок, тренькнула выскочившая иголка; на звук прыгнул с печи котенок и, избочив голову, согнутой лапкой толкнул клубок и покотил его к сундуку.

— Я тебе вот што скажу, — начал старик сдержанно и раздельно, — не будешь с Наташкой жить — иди с базу, куда глаза твои глядят. Вот мой сказ! Иди, куда глаза глядят! — повторил он обычным спокойным голосом и отошел, поднял лавку.

Дуняшка сидела на кровати, зиркала круглыми напуганными глазами.

— Я вам, батя, не во гнев скажу, — голос Григория был дребезжаще глух, — не я женился, а вы меня женили. А за Натальей я не тянусь. Хочет, нехай идет к отцу.

¹⁾ Подземка — низенькая печурка. Обыкновенно делают под кроватью, с дымоводом под полом.

— Иди и ты отсель!

— И уйду.

— И уходи к чортовой матери!..

— Уйду, уйду, не спеши! — тянул Григорий за рукав брошенный на кровати полушубок, раздувая ноздри, дрожа в такой же кипящей злобе, как и отец.

Одна, одобренная турецкой примесью, текла в них кровь; и до чудного были они схожи в этот момент.

— Куды ты пой-де-е-ешь? — застонала Ильинишна, хватая Григория за руку, но он с силой оттолкнул мать и на лету подхватил упавшую с кровати папаху.

— Нехай идет, кабелина поблудный! Нехай, будь он проклят! Иди, иди, ступай!.. — гремел старик, настезь распахивая двери.

— Гри-ша! — кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик. плач вголос.

Морозная крыла хутор ночь. С черного неба падала иглистая порошь, на Дону раскатисто, пушечными выстрелами лопался лед. Григорий выбежал за ворота задыхаясь. На том краю хутора разноголосо брехали собаки, прорешетенная желтыми огоньками дымилась тьма.

Бесцельно зашагал Григорий по улице. В окнах степанова дома алмазно отсвечивала чернота.

— Гри-ша! — кинулся от ворот тоскующий Натальин вскрик.

«Пропади ты, разнелюбая!», скрипнул зубами Григорий, ускоряя шаги.

— Гриша, вернись!

В первый переулоч направил Григорий пьяные свои шаги, в последний раз услышал придавленный расстоянием горький оклик.

— Гришенька, родимый!..

Быстро пересек площадь, на развилке дорог остановился, перебирая в уме имена знакомых ребят, у кого можно было бы переночевать.

Остановился на Михайле Кошевом. Жил тот на отшибе у самой горы; мать, сам Михаил, да сестра-девка — вся семья. Вошел во двор, постучался в крохотное окошко саманной хаты.

— Кто такой?

— Михаил дома?

— Дома. А это кто?

— Это я, Григорий Мелехов.

Через минуту, оторванный от первого сладкого сна, Михаил открыл дверь.

— Ты, Гриша?

— Я.

— Чево ты по ночам?

— Пусти в хату-то, там погутарим.

В сенях Григорий схватил Михаила за локоть, злобясь на себя за то, что нехватало нужных слов, прошептал:

— Я у тебя заночую... С своими поругался... У тебя как, тесно?.. Ну, да я иде-нибудь.

— Место найдется, проходи. За што вы сцепились?

— Э, брат... потом... Иде тут дверь у вас? Не вижу.

Григорию постелили на лавке. Лег с головой кутаясь полушубком, чтобы не слышать шепота михайловой матери, спавшей на одной кровати с дочерью.

«Как теперь дома? Уйдет Наташка, нет ли? Ну, по-новому стелется жизнь. Куда прислониться?»—и быстро подсказывала догадка: «покликчу завтра Аксинью, уйдем с ней на Кубань, подальше отсель... далеко, далеко...»

Уплывали перед закрытыми глазами Григория степные гребни, хутора, станицы, никогда раньше не виданные, чужие сердцу. А за валами гребней, за серой дорогой — сказкой голубая приветливая страна и аксиньина, в позднем мятежном цвету, любовь на придачу.

Уснул встревоженный надвигавшимся неведомым. Перед сном тщетно старался припомнить что-то гнетущее в мыслях, не словленное. Шли в полусне думы гладко и ровно, как баркас по течению, и вдруг наткнулись на что-то, будто на мель; муторно становилось, не по себе; ворочался, вился в догадках «что же? Что такое поперек дороги?»

А утром проснулся и вспомнил: «Служба! Куда же мы пойдем с Аксюткой? Весной — в лагери, а осенью на службу... Вот она зацепа».

Позавтракал и вызвал Михаила в сенцы.

— Сходи, Миша, к Астаховым. Перекажи Аксинье, штоб, как заведереет, вышла к ветряку.

— А Степан?— замылся было Михаил.

— Придумай, как будто за делом.

— Схожу.

— Иди. Мол, непременно пуцай выдет.

— Ладно уж.

Вечером сидел под ветряком, курил в рукав. За ветряком в сухих кукурузных будылях спотыкаясь сипел ветер. На причаленных крыльях хлопало оборванное полотно. Казалось Григорию, будто над ним кружит хлопая крыльями и не может улететь большая птица, от этого было неприятно и страшновато. Аксинья не шла. На западе в лиловой тусклой позолоте лежал закат, с востока крепчая быстрился ветер, шла, перелетая застрявшую в вербах луну, темень. Рудое, в синих подтеках,

трупно чернело над ветряком небо, над хутором последыши суетного дневного гомона.

Григорий выкурил под ряд три цыгарки, воткнул в примятый снег последний окурок, огляделся в злобной тоске. Притаявшие проследки от ветряка к хутору дегтярно чернели. От хутора никого не видно. Григорий встал, хрустнув плечами, потянулся и пошел на огонь, зазывно мигавший в оконце михайловой хаты. Подходил к двору, насвистывая сквозь зубы, и почти в упор столкнулся с Аксиньей. Бежала, как видно, или торопко шла, запыхалась и пахло от свежего нахолодавшего рта то ли ветром, то ли далеким еле уловимым запахом свежего степного сена.

— Заждался, думал не придешь.

— Степана насилушки выпроводила...

— Ты меня заморозила, окаянная баба!

— Я горячая, погрею,—распахнула опущенные полы донской шубы, обвилась вокруг Григория, как хмель вокруг дуба.

— Чево кликал?

— Погоди, прими руки... Тут люди ходют.

— С своими, никак, поругался?

— Ушел. Сутки вот у Мишки... Живу, как прибудная собака.

— Как же ты теперича?— Аксинья разжала обнимавшие Григория руки и зябко запахла полы шубы. — Давай, Гриша, к плетню отойдем. Что же так-то посередь дороги.

Отошли. Григорий, разметав сугроб, прислонился к промерзшему трескучему плетню спиной.

— Не знаешь, ушла к своим Наталья?

— Не знаю... Уйдет, должно. А то будет тут жить?

Григорий просунул иззябшую руку Аксиньи себе в рукав, сжимая пальцами узкую ее кисть спросил:

— Как же будем?

— Я, миленький, не знаю. Как ты, так и я.

— Бросишь Степана?

— И не охну. Хучь зараз!

— Иде-нибудь наймемся обое, будем жить.

— Хучь под скотину, я с тобой, Гриша... Лишь бы с тобой...

Постояли греясь общим теплом. Григорий не хотел итти, стоял повернув голову на ветер, вздрагивая ноздрями, не поднимая смеженных век. Аксинья, уткнувшись лицом ему под мышку, дышала таким родным пьянящим запахом его пота, и на губах ее, порочно жадных, скрытая от глаз Григория, дрожала радостная, налитая сбывшимся счастьем улыбка.

— Завтра дойду до Мохова, может, у него наймусь,— проговорил Григорий, перехватывая повыше запотевшую в пальцах кисть аксиньиной руки. Аксинья промолчала. Не подняла головы. Недавнюю улыбку с губ ее, как ветер слизал, в расширенных глазах загнанным зверком томилась тоска и испуг. «Сказать или не сказать?» — думала она, вспомнив про свою беременность. «Надо сказать» — решила было, но сейчас же, дрогнув от испуга, отогнала страшную мысль. Женским своим чутьем угадала, что не время об этом говорить, поняла, что можно навек потерять Григория; и сомневаясь в том, от кого из двух зачала ворохнувшегося под сердцем ребенка, слукавила душой: не сказала.

— Чево дрогнула? Озябла? — спросил Григорий, кутая ее полой полушубка.

— Озябла трошки... Итить надо, Гриша. Придет Степан, кинется, а меня нету.

— Он иде пошел?

— Насилушки спроводила к Аникею в карты играть.

Разошлись. На губах Григория остался волнующий запах ее губ, пахнувших то ли зимним ветром, то ли далеким неувимым запахом степного, вспыснутого майским дождем сеца.

Аксинья свернула в проулок, пригинаясь почти побежала. Против чьего-то колодезя, там, где скотина взмесиала осеннюю грязь, неловко оступилась, скользнув ногой по обмерзшей кочке и, почувствовав резную боль в животе, схватилась за колья плетня. Боль утихла, а в боку что-то живое переворачиваясь стукнуло гневно и сильно, несколько раз под ряд.

XI

На утро Григорий отправился к Мохову в дом. Сергей Платонович пришел из магазина к чаю. Сидел с Атепиным в столовой, оклеенной дорогими, под дуб, обоями, цедил крепкий бардовый чай. Григорий в передней положил шапку, вошел в столовую.

— Я к вам, Сергей Платонович.

— А, Пантелея Мелехова сынок, кажется?

— Ево.

— Тебе чего?

— Хотел просить, не наймете ли в работники?

Григорий повернул голову на скрип двери. Из зала вышел с сложенной вчетверо газетой молодой офицер в зеленом кителе с погонами сотника. Григорий угадал в нем того офицера, которого обогнал в прошлом году на скачках Митька Коршунов.

Подвигая офицеру стул, Сергей Платонович спросил:

— Что, аль обеднял отец, что сына нанимает?

— Я с ним не живу.

— Отделился?

— Да.

— С радостью взял бы, знаю вашу семью, работающий народ, но места у меня нет.

— В чем дело?— спросил сотник, подсаживаясь к столу и поглядывая на Григория.

— В работники парень нанимается.

— За лошадьми можешь ухаживать? Правишь хорошо дышловой запряжкой?— спросил сотник, мешая ложкой в стакане.

— Могу. Своих лошадей шесть штук держали.

— Мне нужен кучер. Условия твои?

— Я не дорого прошу...

— В таком случае приходи завтра к отцу в имение, знаешь, где имение Листницкого Николая Алексеевича?

— Так точно, знаю.

— Отсюда верст двенадцать. Приходи завтра с утра, договоришься там.

Григорий потоптался на месте и, уже держась за дверную ручку, сказал:

— Мне бы на часок, ваше благородие, сказать вам...

Сотник вышел следом за Григорием в полутемный коридор. Сквозь матовые венские стекла с террасы скупно сочился розовый свет.

— В чем дело?

— Я не один...— Григорий густо покраснел,— со мной баба, может и ей место какое выйдет?

— Жена?— спросил сотник, улыбаясь и поднимая розовые от света брови.

— Чужая жена...

— Ах, вон как. Ну, что ж, устроим и ее черной стряпухой. А муж ее где?

— Тут, хуторной.

— Ты что же, похитил у мужа жену?

— Сама приبلудилась.

— Романическая история. Ну, хорошо, приходи завтра. Можешь быть свободен, братец.

Григорий пришел в Ягодное— имение Листницких — часов в восемь утра. На широкой балке мостился большой двор, обнесенный кирпичной облупленной огородей. По двору нескладно раскидались дворовые постройки: флигель под черепичной крышей — с черепичной цифрой посреди—1910 год, людская, баня, конюшня, птичник и коровник, длинный амбар, каретник. Дом большой, старый, огороженный со стороны двора

налисадником, ютился в саду. За домом серою стеною стояли оголенные тополи и вербы ливады, в коричневых шапках покинутых грачиных гнезд.

Григория встретила за двором ватага крымских черных борзых. Старая хромая сука, с слезящимся старушечьим взглядом, первая обнюхала Григория и пошла следом, понутив сухую голову. В людской кухарка ругалась с молоденькой веснушчатой горничной. В табачном дыму, как в мешке, сидел у порога старый губатый человекина. Григория горничная провела в дом. В передней воняло псиной и не подсохшими звериными шкурами. На столе валялся чехол от двухстволки и ягдташ с истрепанными зелеными шелковыми махрами.

— Молодой барин зовет к себе, — выглянула из боковых дверей горничная.

Григорий опасливо оглядел свои грязные сапоги, шагнул в дверь.

На кровати, стоявшей под окном, лежал сотник; на одеяле коробка с гильзами и табак. Начинив папиросу, сотник застегнул воротник белой сорочки, сказал:

— Рано ты. Подожди, сейчас отец придет.

Григорий стал у двери. Через минуту по скрипучему полу передней зашаркали чьи-то шаги. Густой низкий бас спросил в дверную щель:

— Не спишь, Евгений?

— Входите.

Вошел старик в черных кавказских бурках. Григорий глянул на него сбоку, и первое, что ему кинулось в глаза, — это тонкий покривленный нос и белые, под носом желтые от курева, широкие полудути усов. Старик был саженого роста, плечист и худ. На нем дрябло обвисал длинный верблюжьего сукна сюртук, воротник его петлей охватывал коричневую в морщинах шею. Близко к переносице сидели выцветшие глаза.

— Вот, папа, кучер, которого я вам рекомендую, — парень из хорошей семьи.

— Чей это? — бухнул старик раскатом гудящего голоса.

— Мелехов.

— Которого Мелехова?

— Пантелея Мелехова сын.

— Прокофия знаю, сослуживец, Пантелея знаю. Хромой такой, из черкесов?

— Так точно, хромой, — тянулся Григорий струною.

Он помнил рассказы отца об отставном генерале Листницком — герое русско-турецкой войны.

— Почему нанимаешься? — грохотало сверху.

— Не живу с отцом, ваше превосходительство.

— Какой же из тебя будет казак, ежели ты наймитом таскаешься? Отец, отделяя тебя, разве ничего не дал?

— Так точно, выше превосходительство, не дал.

— Тогда другое дело. Ты с женой занимаешься?

Сотник резко скрипнул кроватью. Григорий повел глазами, увидел — сотник моргает, дергает головой.

— Так точно, ваше превосходительство.

— Безо всяких превосходительств. Не люблю! Цена восемь рублей в месяц. Это обоим. Жена будет стряпать на дворовых и сезонных рабочих. Согласен?

— Так точно.

— Чтоб был в имении завтра же. Займешь в людской ту половину, в которой жил прежний кучер.

— Как ваша вчерашняя охота? — спросил сын у старика и опустил на коврик узкие волосатые ступни ног.

— Выгнали из Гремячего лога лисовина, гнали до леса, старый попался, обманул собак.

— Казбек все хромает?

— У него, как оказалось, вывих. Ты поскорей, Евгений, завтрак съест.

Старик повернулся к Григорию и щелкнул сухими костлявыми пальцами.

— Шагом марш! Завтра к восьми часам, чтобы был здесь.

Григорий вышел за ворота. У заднего фасада амбара борзые грелись на подсохшей от снега земле. Старая сука с старушечьим взглядом потрусил к Григорию, обнюхала его сзади и провожала до первой балки, понуро опустив голову, ступая шаг в шаг. Потом вернулась.

XII

Аксинья отстряпалась рано, загребла жар, закутала трубу и, перемыв посуду, выглянула в оконце, глядевшее на баз. Степан стоял возле слег, сложенных костром над плетнем к мелеховскому базу. В уголке твердых губ его висела потухшая цыгарка; он выбирал из костра подходящую соху. Левый угол сарая завалился, надо было поставить две прочных сохи и прикрыть оставшимся камышом.

С утра на верхушках аксиньиных скул — румянец, в молодом блеске глаза. Кинулась перемена Степану в глаза, завтракая спросил:

— Ты чево?

— А чево я? — вспыхнула Аксинья.

— Блестишь, будто постным маслом намазанная.

— От печи жарко... в голову кинулось,— и, отвернувшись, глазами воровато шмыгнула в окно, не идет ли, случаем, Мишки Кошевого сестра?

Та пришла только перед сумерками. Вымученная ожиданием, Аксинья встрепенулась.

— Ты ко мне, Машутка?

— Выдь на час.

Степан перед осколком зеркала, вмазанного в выбеленную грудину печи, зачесывал зуб, гладил куцой, костяной, из бычьего рога расческой каштановые усы.

Аксинья опасливо глянула в сторону мужа.

— Ты, никак, куды-то собираешься?

Степан ответил не сразу, положил расческу в карман шаровар, взял из печурки колоду карт и кисет.

— К Аникушке пойду, посижу трошки.

— И когда ты находишься? Искоренили карты: што ни ночь, то им игра. До кочетов просиживают.

— Но, будя, слыхали.

— Опять в очко будешь играть?

— Отвяжись, Аксютка. Вон человек ждет, иди.

Аксинья боком вышла в сенцы. У входа встретила улыбкой ее румяная, в заседе веснушек Машутка.

— Пришел ить Гришка.

— Ну?

— Переказывал, штоб, как затемнеет, шла к нам.

Аксинья, хватая машуткины руки, теснила ее к двери.

— Тише, тише, любушка. Што ж он, Маша? Может ишо чево велел сказать?

— Гутарит, штоб забрала свое, што унесешь.

Аксинья, вся в огне и дрожи, вертела головой, поглядывая на двери, переступая с ноги на ногу, как обкормленная ячменем лошадь.

— Господи, как же я?.. А?.. Так-то скорочка... Ну, што я? Погоди, скажи ему, што я скоро... А иде он меня перевстренет?

— Заходи в хату.

— Ох, нет!..

— Ну, ничево, я скажу ему, он выйдет.

Степан надел сюртук, тянулся к висячей лампе, прикуривая.

— Чево она прибежала?— спросил между двумя затяжками.

— Кто?

— Да Машка Кошевых?

— А, это она по-своему делу... юбку просила скроить.

Сдувая с цыгарки черные хлопья пепла Степан пошел к двери.

— Ты ложись, не жди?

— Ну-но.

Аксинья припала к замороженному окну, опустила перед лавкой на колени. По стежке, протоптанной к калитке, закрипели шаги уходящего Степана. Ветром схватило искорку цыгарки и донесло до окна. В оттаявший кружок стекла Аксинья на минуту увидела, при свете пламенеющей цыгарки, полукруг папахи, придавившей хрящеватое ухо, клочок белого лица.

В большой шалевый платок лихорадочно кидала из сундука юбки, кофточки, полушалки — девичье свое приданое, задыхаясь, с растерянными глазами, в последний раз прошлась по кухне и, загасив огонь, выбежала на крыльцо. Из мелеховского дома кто-то вышел на баз проведать скотину. Аксинья дождалась пока заглохли шаги, накинула на дверной пробой цепку и, прижимая узел, побежала к Дону. Из-под пухового платка выбились пряди волос, щекотали щеки. Дошла задами до двора Кошевых — обессилела, с трудом переставляла зачугуневшие ноги. Григорий ждал ее у ворот. Принял узел и молча, передом пошел в степь.

За гумном Аксинья, замедляя шаги, пронула Григория за рукав.

— Погоди чудок.

— Чево годить? Месяц теперича не скоро, надо поспешать.

— Погоди, Гриша, — Аксинья сгорбившись стала.

— Ты чево? — наклонился к ней Григорий.

— Так... живот штой-то. Чижолое нады подняла, — облизывая спекшиеся губы, жмурясь от боли до огненных брызг в глазах, Аксинья схватилась за живот. Постояла немного, согнутая и жалкая, и, заправляя под платок пряди волос, тронулась.

— Ну все, пойдём.

— Ты и не спросишь, куда я тебя веду. Может, до первова яра, а там спихну? — улыбнулся в темноту Григорий.

— Все одно уж мне. Доигралась, — голос Аксиньи звякнул невеселым смехом...

Степан в эту ночь вернулся, как всегда, в полночь. Зашел в конюшню, кинул в ясли наметанное конем под ноги сено, снял с него недоуздок и взошел на крыльцо. «Должно ушла на посиделки», — подумал, скидая с пробоя цепку. Вошел в кухню, плотно притворил дверь и зажег спичку. Был он в выигрыше (играли на спички), оттого мирен и сонлив. Засветил огонь и, не догадываясь о причине, оглядел в беспорядке разбросанные по кухне вещи. Слегка удивленный, прошел в горницу. Темной пастью чернел раскрытый сундук, на полу лежала старенькая, забытая в попыхах жена кофтенка. Степан рванул с себя полушубок и кинулся в кухню за огнем. Оглядел горницу — понял. Швырком кинул лампу, не отдавая ясного отчета, рванул со стены

шашку, сжал эфес, до черных отеков в пальцах, подняв на носке шашки голубенькую, в полевых цветочках, позабытую аксиньину кофтенку, подкинул ее кверху и на лету, коротким взмахом разрубил пополам.

Посеревший, дикий, в волчьей своей тоске, подкидывал к потолку голубенькие искромсанные шматочки; повизгивающая, отточенная сталь разрубала их на лету...

Потом, оборвав темляк, кинул шашку в угол, ушел в кухню и сел за стол. Избочив голову, долго гладил дрожащими железными пальцами невымытую крышку стола.

XIII

Беда в одиночку сроду не ходит: утром по недогляду Гетька племенной бугай Мирона Григорьевича распорол рогом лучшей кобылице-матке шею. Гетько прибежал в курень белый, растерянный, била его трясучка.

— Беда, хозяин! Бугай, шоб вин выздох проклятий, бугай...

— Чево, бугай? Ну?— встревожился Мирон Григорьевич.

— Кобылу спортил... пырнул рогом... я кажу...

Мирон Григорьевич раздетый выскочил на баз. Около колодезя Митька утюжил колом красного пятилетка—бугая. Тот, пригиная к земле морщинистый подгрудок, волоча его по снегу, крутил низко опущенной головой, далеко назад кидал ногою снег, рассевая вокруг спиралью скрученного хвоста серебряную пыль. Он не бежал от побоев, лишь глухо взмыкивал, перебирал задними ногами, как перед прыжком.

В горле его ширился, рос клокочущий рев: Митька бил его по морде, по бокам в хрипе безобразной ругани, не обращая внимания на Михея, который тянул его сзади за ремень.

— Оступись, Митрий!.. Христом-богом прошу!.. Забрухает он тебя!.. Григорич, да чево ж ты глядишь?..

Мирон Григорьевич бежал к колодезю. У плетня, понуро свесив голову, стояла кобылица. Запотевшие у кострецов впадины, черные и глубокие, ходили в дыханьи, с шеи на снег и на круглые шишки грудных мускулов текла кровь. Мелкая дрожь волнила светло-гнедую шерсть на спине и боках, сотрясала пахи.

Мирон Григорьевич забежал наперед. На шее разваленная пополам дымилась в розовом рана. Глубокий, хоть ладонь суй, длинный порез, обнаженное коленчатое горло в судороге дыханья. Мирон Григорьевич сжал в кулаке челку, потянул вверх опущенную голову кобылицы. Прямо в глаза хозяину направила она мерцающий фиолетовый зрачок, будто спросила: что же дальше?— и на немой вопрос крикнул Мирон Григорьевич:

— Митька! Дубовую кору вели обдать. А ну, горопись!

Гетько, сотрясая в беге треугольный на грязной шее кадык, побежал драть с дуба кору. Митька подошел к отцу, оглядываясь на кружившего по двору бугая. Красный, на талой белени снежища, колесил тот по двору, изрыгая прорвавшийся безостановочный рев.

— Держи за зуб!— приказал Митьке отец.— Михай, беги за бечевкой! Скорей, морду побью!..

Бархатную, в редком волосе, верхнюю губу кобылицы закрутили веревкой на закрутке, чтобы не чуяла боли. Подошел дед Гришака. Принесли в расписной чашке желудевого цвета отвар.

— Остуди,— горяч, небось. Слышишь аль нет, Мирон?

— Батя, идите в курени, с богом! Остынете тута!

— А я велю остудить. Загубить хочешь матку?

Рану промыли. Мирон Григорьевич зяблым пальцем провздевал в иглу-цыганку суровинку. Зашивал сам. Искусный лег на рану шов. Не успел отойти от колодезя, из куреня прибежала Лукинишна. Порожные сумки ее блеклых щек смяла тревога. Она отозвала мужа в сторону.

— Наталья пришла, Григорич!.. Ах, боже-е, ты, мой!..

— Чево ишо?.. — вз'ершился Мирон Григорьевич, бледняя конопинами белесого лица.

— С Григорием... ушел зятек из дому!— Лукинишна раскрылилась, как грач перед взлетом, хлопнув руками по подолу прорвалась на визг.

— Страмы на весь хутор!.. Кормилец, господи, што за напастина!.. Ах, ох!

Наталья в платке и куцой зимней кофтенке стояла посреди кухни. Две слезинки копилась над переносицей не падая. На щеках ее кирпичными плитами лежал румянец.

— Ты чево заявила?— напугнулся отец, влезая в кухню.— Муж побил? Не заладили?..

— Ушел он,— глотая сухмень рыдания, икнула Наталья и, мягко качнувшись, упала перед отцом на колени.— Батянюшка, пропала моя жизнь!.. Возьми меня отгеть! Ушел Гришка с своей присухой!.. Одна я! Батянюшка, я, как колесом перееханная!.. — часто залопотала Наталья, не договаривая концы слов, снизу моляще взглядывая в рыжую подпалину отцовской бороды.

— Постой, а ну, погоди!..

— Не из чево там жить! Заберите меня!.. — постукивая коленными чашечками Наталья быстро переползла к сундуку и на ладони рук кинула дрогнувшую в плаче голову. Платок ее сбился на спину, гладко причесанные, черные, прямые волосы свисали на бледные уши... Плач в тяжелую минуту, что дождь в майскую засуху: мать прижала к впалому

животу натальину голову, причитая нескладное, бабье, глупое, а Мирон Григорьевич распался — на крыльцо.

— Запрягай в двое саней!.. В дышловые!..

Петух, деловито топтавший у крыльца куриную свою жену, испуганный громким зыком, прыгнул с курицы и в раскачку заковылял подалее от крыльца, к амбарам, квохча и негодуя.

— Запрягай!..— Мирон Григорьевич крушил сапогами резные балясины у крыльца и только тогда ушел в курень, оставив безобразно выщербленные перила, когда Гетько на рысях вывел из конюшни пару вороных, на ходу накидывая хомуты.

За натальиным именем поехал Митька с Гетьком. Хохол в рассеянности сшиб санями поросенка, не успевшего убраться с дороги, думая про свое: «Мабуть за цим дилом забудэ хозяин об кобыли?»— и радовался, ослабляя вожжи.

«Такий вридный чортяка, як раз забуде!..» — настигала мысль, и Гетько, хмурясь, кривил губы.

— Пригай, чортобис!.. Ось я тоби!— и сосредоточенно норовил щелкнуть кнутом вороного под то самое место, где ёкала селезенка.

XIV

• Сотник Евгений Листницкий служил в лейб-гвардии Атаманском полку. На офицерских скачках разбился, переломил в предплечьи левую руку. После лазарета взял отпуск и уехал в Ягодное к отцу на полтора месяца.

Старый, давно овдовевший генерал жил в Ягодном одиноко. Жену он потерял в предместьях Варшавы в восьмидесятых годах прошлого столетия. Стреляли в казачьего генерала, попали в генеральскую жену и кучера, изрешетили во многих местах коляску, но генерал уцелел. От жены остался двухлетний тогда Евгений. Вскоре после этого генерал подал в отставку, перебрался в Ягодное (земля его — четыре тысячи десятин, — нарезанная еще прадеду за участие в Отечественной 1812 года войне, находилась в Саратовской губернии), и зажил чернотелой суровой жизнью.

Подростшего Евгения отдал в кадетский корпус, сам занялся хозяйством: развел племенной скот, с императорского завода купил на племя рысистых производителей и, скрещивая их с лучшими матками из Англии и с Донского Провальского завода, добился своей породы. Держал на своей казачьей паевой и купленной земле табуны, сеял — чужими руками — хлеб, зимой и осенью охотился с борзыми, изредка запираясь в белой зале пил неделями. Точила его злая желудочная болезнь, и по строжайшему запрету врачей не мог он глотать пережеванную пищу; жевал, вытягивал соки, а жевки выплевывал на серебряную тарелочку,

которую сбоку, на вытянутых руках постоянно держал молодой, из мужиков, лакей Вениамин.

Был Вениамин придурковат, смугл, на круглой голове не волосы, а черный плюш, густые, без ворса. Служил у пана Листницкого шесть лет. Вначале, когда припало стоять над генералом с серебряной тарелочкой, не мог без тошноты глядеть, как старик выплевывает серые измочаленные зубами жевки, потом привык. Через год, как-то глядя, как пан, выжевывая котлетки из белого мяса индейки, выплевывает их, подумал. «Пропадает добро! Сам не жрет, а у меня судорги в животе. Одним словом, лежит, как кобель на скирду. Попробую доедать за него, не сорвет?» Попробовал — не вырвало. С тех пор после обеда уносил серебряную тарелочку в переднюю и там торопливо глотал то, что пану доктора запретили глотать. От этого ли, или от другого чего, но разелся, заблестел салом, набрал на шее частые складки. Были волосы на голове Вениамина, как черный плюш.

В имении из дворни, кроме Вениамина, жили: кухарка Лукерья, одряхлевший конюх Сашка, пастух Тихон и вновь поступивший на должность кучера Григорий с Аксиньей. Рыхлая, рябая, толстозадая Лукерья, похожая на желтый ком невсхожего теста, с первого же дня отшила Аксинью от печи:

— Стряпать будешь, когда рабочих на лето наймет пан, а сейчас я, конечно, сама управлюсь.

На обязанности Аксиньи лежало три раза в неделю мыть в доме полы, кормить гурты птиц и содержать двор птичий в чистоте. Она ретиво взялась за службу, всем стараясь угодить, не исключая и Лукерьи. Григорий большую часть времени проводил в просторной рубленной конюшне вместе с конюхом Сашкой. До сплошных сединок дожил старик, но Сашкой так и остался. Никто не баловал его отчеством, а фамилию, наверное, не знал и сам старый Листницкий, у которого жил Сашка больше двадцати лет. В молодости Сашка кучеровал, но под исход жизни, теряя силу и зрение, перешел в конюхи. Низенький, весь в зеленой седине (на руках и то рос седой волос), с носом, расплюснутом еще в детстве ударом чекмаря¹⁾, вечно улыбался он голубой детской улыбкой, мигая на окружающее простодушными, в красных складках глазами. Портил его апостольское лицо нос курносый с веселинкой да изуродованная стекающим книзу шрамом нижняя губа. Под пьянку в солдатчину (родом Сашка был из богучарских москалей), вместо царской водки, хватил он из косухи острой водки: огненная струйка и пришила ему нижнюю губу к подбородку. Там, где пролилась эта струйка, остался незарастающий волосом розовый и веселый косой шрам, будто неведомый зверек лизнул Сашку в бороду, положив след тонюсенького

1) Чекмарь — палка с утолщенным к низу концом.

напильчатого языка. Сашка часто баловался водкой, в такие минуты бродил по двору имения — сам хозяин, шпаклюя ногами становился против окон панской спальни и хитро крутил пальцем перед веселым своим носом.

— Миколай Лексеич! А, Миколай Лексеич? — звал он громко и строго.

Старый пан, если был в эту минуту в спальне, подходил к окну.

— Наелся, пустяковая твоя душа? — гремел он из окна.

Сашка подсмывивал спадавшие портки и, подмигивая, шельмовато улыбался. Улыбка вытанцовывалась у него наискось всего лица: от прижмуренного левого глаза до розового шрама, стекавшего из правого угла рта. Поперечная была улыбка, но приятная.

— Миколай Лексеич, ваше преподобие, я тебя зна-а-аю!.. — и Сашка, приплясывая, грозил сторчмя поднятым тонким и грязным пальцем.

— Поди проспись, — примиряюще улыбался из окна пан, всей обкуренной пятерней закручивая нависшие усы.

— Чорт Сашку не ом-манет! — смеялся Сашка, подходя к палисаднику, — Миколай Лаксеич, ты... как и я. Мы с тобой, как рыба с водой. Рыба на дно, а мы... на гумно. Мы с тобой богатые, во!.. — Сашка корячась широко расплескивал руки. — Нас все знают, по всей Донской области. Мы... — голос Сашки становился печален и вкрадчив, — мы с тобой, ваше превосходительство, всем хороши, тока вот носы у нас говенные!

— Чем же? — любопытствовал пан, сизея от смеха и шевеля усами и под'усникамн.

— Через водку! — отчеканивал Сашка, часто моргая и слизывая языком слюну, сползавшую по каналцу розового шрама. — Ты, Миколай Лексеич, не пей. А то во взят пропадем мы с тобой! Проживем все до тла!..

— Поди, вот, похмелись.

Пан кидал в окно двугривенный, Сышка ловил на лету, прятал за подкладку картуза.

— Ну прощай, генерал, — вздыхал он уходя.

— А лошадей-то поил? — заранее улыбаясь спрашивал пан.

— Чорт паршивый! Ать сукин сын! — багровея орал Сашка ломким голосом. Гнев трепал его лихорадкой.

— Сашка штоб лошадей забыл напоить? А? Умру, и то приползу по цибарке кринишной дать, а он, ать, придумал!.. Тоже!..

Сашка уходил, облитый незаслуженной обидой, матерясь и грозя кулаками. Сходило ему все: и пьянка и панибратское обращение с паном; оттого сходило, что был Сашка незаменимый конюх. Зиму и лето

спал он в конюшне, в порожнем станке, никто лучше его не умел обращаться с лошадьми, был он и конюх и коновал: веснами в майском цветении рвал травы, копал в степи, в суходолах и мокрых балках целебные корни. Высоко на стенках конюшни висели сушеные пучки разнолистной травы: яровик — от запала, змеиное око — от укуса гадюки, чернолист — от порчи ног, неприметная белая травка, растущая в ливадах у корней верб, — от надрыва, и много других неведомых трав от разных лошадиных недугов и хвори.

В конюшне, в станке, где спал Сашка, зиму и лето паутинной занавесью висел тонкий липнувший к горлу аромат. На досчатой кровати лежало прикрытое попоной, сбитое камнем сено и весь провонявший конским потом сашкин зипун. Пожитков, кроме зипуна и дубленого полшубка, у Сашки не было.

Тихон, губатый, здоровенный и дурковатый казак, — жил с Лукерьей, втихомолку беспричинно ревновал ее к Сашке. В месяц раз брал он Сашку за пуговицу просаленной рубахи и уводил на зады.

— Дед, ты на мою бабу не заглядывайся!

— Это, как сказать... — многозначительно мигал Сашка.

— Отступись, дед! — просил Тихон.

— Я, дружок, рябых люблю. Мне шкалик не подноси, рябую вында положи. Што не дюжей ряба — дюжей нашего брата, шельма, любит.

— В твои года, дед, совестно и грех... Эх, ты, а ишо лекарь, лошадей пользуешь, святое слово знаешь...

— Я на все руки лекарь, — упорствовал Сашка.

— Отступись, дед! Нельзя так-то.

— Я, брат, эту Лукерью пристигну. Прощайся с ней, шельмой, отобью! Она, как пирог с изюмом. Только изюм-то повывоквырянный, оттого будто ряба малость. Люблю таких!

— На вот... а под ноги не попадайся, а то убью, — говорил Тихон, вздыхая и вытягивая из кисета медяки. Так каждый месяц.

В сонной одуре плесневела в Ягодном жизнь. Глухое, вдали от проезжих шляхов, лежало по суходолу имение, с осени гложла связь с станицей и хуторами. Зимой на бугор, упиравшийся в ливаду выпуклым песчаным мысом, ночами выходили волчьи выводки, зимовавшие в Черном лесу, выли, пугая лошадей. Тихон шел в ливаду стрелять из панской двустволки, а Лукерья, кутая дерюжкой толстый — что печной заслон — зад, замирала, ожидая выстрела, широко зевая в темноту заплывшими в жирных рябых щеках глазками. В это время представлялся ей дурной плешивый Тихон красивым и отчаянно-храбрым молодцом, и когда хлопала дверь в людской, впуская дымящийся пар и Тихона, она теснилась на кровати, давила спиной на стене клопов и, воркуя, сладко обнимала назябшие тихоновы костяки.

Летом Ягодное до поздна гудело голосами рабочих. Сеял пан десяти сорок разного хлеба, рабочих нанимал убирать. Изредка летом наезжал в имение Евгений, ходил по саду и ливаде, скучал. Утром про-сиживал возле пруда с удочками. Был он невысок, полногруд. Носил чуб по-казачьи, зачесывая на правую сторону. Ловко обтягивал его офицерский сюртук.

Григорий в первые дни, как только поселился в имении с Аксиньей, часто бывал у молодого хозяина. В людскую приходил Вениамин, склоняя плешивую голову улыбался.

— Иди, Григорий, к молодому пану, велел позвать.

Григорий входил, становился у притолки. Евгений Николаевич, щеря редкие широкие зубы, указывал рукой на стул.

— Садись.

Григорий садился на краешек.

— Как тебе нравятся наши лошади?

— Добрые кони. Серый даже хорош.

— Ты его почаще проезжай. Смотри, наметом не гони.

— Мне дед Сашка толковал.

— А Крепыш, как?

— Это гнедой-то? Цены не уставлю. Копыто, вот, зацербил, пере-ковать надо.

Молодой пан, щура пронзительные серые глаза, спрашивал:

— Тебе ведь в лагери в мае итти?

— Так точно.

— Я поговорю с атаманом, не пойдешь.

— Покорнейше благодарю.

Молчали. Сотник, расстегнув воротник мундира, почесывал жен-ски-белую грудь.

— Что ж, ты не боишься, что аксиньин муж отнимет ее у тебя?

— Он от нее отказался, не отнимет.

— Кто тебе говорил?

— Ездил в станицу за ухналями, видал хуторново одново. Гутарит, зџпил. Степан в темную. «Мне, мол, Аксютка и за грош не нужна. Пушай, я себе похлеще сыщу».

— Аксинья — красивая баба, — говорил сотник, задумчиво глядя повыше григорьевых глаз, блудя улыбкой.

— Баба ничево, — соглашался Григорий и хмурился.

Евгению кончался срок отпуска. Он мог уже свободно без пере-вязки носить руку, поднимать, не сгибая в локте.

В последние дни он часто просиживал у Григория, в его половине людской. Аксинья чисто выбелила замшевшую в грязи комнату, от-мыла наличники окон, выскребла битым кирпичом полы. Бабьим

уютом пахло в пустой веселой комнатке. Из подземки дышало жаром. Сотник, накинув синего сукна романовский полушубок, шел в людскую. Выбирал такое время, когда Григорий был занят с лошадьми. Приходил сначала на кухню, шутил с Лукерьей и, повернувшись, шел в другую половину. Садился у подземки на табуретке, остро сутулил спину, глядел на Аксинью бесстыдным улыбчивым взглядом. Аксинья терялась в его присутствии, дрожали в пальцах иглы, набравшие петли чулка.

— Как живешь, Аксиньюшка? — спрашивал сотник, наводняя комнатушку синим папиросным дымом.

— Благодарствую. — Аксинья поднимала глаза и, встречаясь с прозрачным взглядом сотника, молчаливо говорившим о его желании, вспыхивала румянцем. Ей было досадно и неприятно глядеть в оголенные светлые глаза Евгения Николаевича. Она невпопад отвечала на разные пустяковые вопросы, норовила поскорее уйти.

— Пойду. Надо уткам зерна всыпать.

— Посиди. Успеешь, — улыбался сотник и дрожал ногами в плотно обтянутых рейтузах.

Он подолгу расспрашивал Аксинью про ее прежнее житье, играл низкими нотками, такого же как и у отца, голоса, похабничал светлыми, как родниковая вода, глазами.

Управившись Григорий приходил в людскую. Сотник гасил в глазах недавние огни, угощал его папироской и уходил.

— Чего он сидел? — глухо, не глядя на Аксинью, спрашивал Григорий.

— А я почем знаю? — Аксинья, вспоминая взгляд сотника, деланно смеялась, — пришел, сел вот туточка, гля-ка, Гришенька, вот так-то: — она показывала, как сидел сотник, похоже горбятя спину, — и сидит, и сидит, ажник тошно, а коленка вострая-превострая.

— Примолвила што ль ево? — зло шурился Григорий.

— Нужен он мне.

— То-то гляди, а то я ево в одночас спихну с крыльца.

Аксинья улыбаясь глядела на Григория и не могла понять, серьезно он говорит, или шутит.

XV

На четвертой неделе поста сдала зима. На Дону бахромой легли окраинцы, ноздревато припух, посерел, подтаявший сверху лед. Вечерами глухо гудела гора, по стариковским приметам — к морозу, а на самом деле — вплотную подходила оттепель. По утрам легкие ледозвонили заморозки, а к полудню земля отходила, и пахло мартом, при мороженной корой вишневых деревьев, прелой соломой.

Мирон Григорьевич исподволь готовился к пахоте, пополневшими днями возился под сараем, тесал зубья к боронам, вместе с Гетьком делал два новых стана для колесной поезджи. Дед Гришака говел на четвертой неделе. Приходил из церкви почерневший от холода, жалился снохе:

— Заморил поп, никудышний служака, да-с; служит, как яишник с возом едет. Это беда!

— Вы бы, батя, на страстной говели, все потеплеет к тому время.

— Ты мне Наташку покличь. Пушай она чулки потолще свяжет, в таких-та голопятих и серых бириук с пару сойдется.

Наталья жила у отца, как хохол на отживе: ей все казалось, что Григорий вернется к ней, сердцем ждала не вслушиваясь в трезвый нашепот разума, исходила ночами в жгучей тоске, крушилась растоптанная нежданной незаслуженной обидой. А к этому прибавилось другое, и Наталья с холодным страхом шла к концу, ночами металась в своей девичьей горенке, как подстреленный чибис по ендовной куге. С первых дней по-иному стал поглядывать на нее Митька, а однажды прихватив Наталью в сенцах, прямо спросил:

— Скучаешь по Гришке?

— А што тебе?

— Тоску твою хочу разогнать...

Наталья взглянула ему в глаза и ужаснулась в душе своей догадке. Играл Митька зелеными кошачьими глазами, масляно блестел в темноте сеней продольными разрезами зрачков. Наталья, хлопнув дверью, вскочила в бокоушку к деду Гришаке, долго стояла прислушиваясь к несчетному трепету сердца. На другой день после этого Митька подошел к ней на базу. Он метал скотине сено, и на прямых его волосах, на папахе шпанского меха висели зеленые травяные былки. Наталья отгоняла от свиного корыта увивавшихся собак.

— Ты не мордуйся, Наташка...

— Я бате зашумлю! — крикнула Наталья, закрываясь от него руками.

— Тю, сдурела!

— Уйди, проклятый!..

— Ну, чего шумишь?

— Уйди, Митька! Зараз пойду и расскажу бател.. Какими ты глазами на меня глядишь? И-и-и, бессовестный!.. Как тебя земля держит!

— А вот держит и не гнется. — Митька в подтверждение топнул сапогами и подпер бока.

— Не лезь ко мне, Митрий!

— Зараз я и не лезу, а ночью приду. Ей богу, приду!

Наталья ушла с база содрогаюсь. Вечером постелила себе на сун-

дуке и положила с собой младшую сестренку. Ночь проворочалась, горячечными глазами вклиниваясь в темноту. Шороха ждала, чтобы крикнуть на весь дом, но тишина нарушалась только сапом спящего рядом, за стенкой, деда Гришаки, да редкими всхрапами разметавшейся под божком сестры. Отравленная бабым неусыпным горем разматывалась пряжа дней.

Митька, неизживший давний свой позор с сватовством, ходил хмурый и злой. По вечерам уходил на игрища и редко приходил домой рано, все больше зря выкидывала. Путался с гулящими жалмерками, ходил к Степану играть в очко. Мирон Григорьевич до поры до времени молчал, приглядывался.

Как-то перед Пасхой Наталья встретила около моховского магазина Пантелея Прокофьевича. Он окликнул ее первый.

— Погодика-ка на часок.

Наталья остановилась. Затосковала, глянув на горбоносое, смутно напоминавшее Григория лицо свекора.

— Ты чево же к старикам на заглянешь? — смущенно обегая ее глазами, заговорил старик, словно сам был виноват перед Натальей. — Баба там по тебе соскучилась... Затекалась баба, што да чево ты там... Ну, как живешь-можешь?

Наталья оправилась от безотчетного смущенья.

— Спасибочко... — и запнувшись, хотела назвать батей, смутившись dokonчила, — Пантелей Прокофьевич.

— Што ж не наведаешься к нам?

— По хозяйству... работаю.

— Гришка наш, эх!.. — старик горько закрутил головой. — Подковал он нас, стервец... как ладно зажали было-к...

— Што ж, батя... — высоким рвущимся голосом зазвенела Наталья, — не судьба видать.

Пантелей Прокофьевич растерянно засуетился, глянув в глаза Натальи, налитые слезами. Губы ее сводило, усилие держало слезы.

— Прощай, милушка!.. Ты не горюй по нем, по сукинову сыну; он ногтя твоего не стоит. Он, может, вернется. Гребтится мне повидать ево, уж я доберусь!

Наталья пошла вобрав голову в плечи, как побитая. Пантелей Прокофьевич долго топтался на одном месте, будто сразу хотел перейти на рысь. Наталья, заворачивая за угол, оглянулась: свекор хромал по площади, с силой налегая на костыль.

XVI

У Штокмана стали собираться реже. Подходила весна, хуторцы готовились к весенней работе, лишь с мельницы приходили Валет с Да-

выдкой и машинист Иван Алексеевич. В страстной четверг перед вечером собрались в мастерской. Штокман сидел на верстаке, подчищая напильком сделанное из серебряного полтинника кольцо. В окно ложилась вязанка лучей закатного солнца. Розовый, с желтизной лежал на полу пыльный квадрат. Иван Алексеевич крутил в руках клещи-кусачки.

— Надьсь был у хозяина, ходил толковать о поршне. Надо в Миллерово везть, там дадут ему рахунку, а мы што же можем поделать? Трещина образовалась вот какая,— неизвестно кому показал Иван Алексеевич на мизинце размер трещины.

— Там ведь завод, кажется, есть? — спросил Штокман, двигая напильком, сея вокруг пальца тончайшую серебряную пыль.

— Мартеновский. Мне припало в прошлом году побывать.

— Много рабочих?

— До чорта. Сотни четыре.

— Ну, как они? — Штокман, работая, встряхивал головой, и слова падали раздельно, как у зайки.

— Им-то житье. Это тебе не пролетарии, а так... навоз.

— Почему же это? — поинтересовался Валет, сидя рядом с Штокманом, скрестив под коленями куценькие обрубковатые пальцы.

Давыдка-вальцовщик, седой от мучной пыли, набившейся в волосы, ходил по мастерской, разбрызгивая чириками шуршащую пену стружек, с улыбкой прислушиваясь к сухому пахучему шелесту. Казалось ему, что идет он по баераку, занесенному багряным листопадом, листья мягко уминаются, а под ними юная упругость сырой-баерачной земли.

— А потому это, што все они зажиточные. Каждый имеет свой домик, свою бабу со всяким удовольствием. А тут к тому ишо половина из них баптисты. Сам хозяин-проповедник у них, ну и рука руку моет, а на обоих грязи мотыжкой не соскребешь.

— Иван Алексеевич, какие это баптисты? — остановился Давыдка, уловив незнакомое слово.

— Баптисты-то? По-своему в бога веруют. Навроде полипонов.

— Каждый дурак по-своему с ума сходит, — добавил Валет.

— Ну, так вот, прихожу я к Сергею Платоновичу, — продолжал Иван Алексеевич начатый рассказ, — у него Атепин-Цаца сидит. Погоди, говорит, в прихожей. Сел, дожидаясь. Сквозь дверей слышу разговор ихний. Сам расписывает Атепину, мол, очень скоро должна произойти война с немцами, вычитал из книжки, а Цаца, знаешь как он гутарит? «Конечно, гутарит, я с вами не согласный насчет войны». — Иван Алексеевич так похоже передразнил Атепина, что Давыдка, округлив рот, пустил короткий смешок, но, глянув на язвительную мину Валета, смолк.

— «Война с Россией не может быть, потому что Германия правдается нашим хлебом», — продолжал Иван Алексеевич пересказ слышанного разговора. — Тут вступается ишо один, по голосу не спознал, а после оказалось пана Листницкого сын, офицер. «Война, дескать, будет промеж Германией и Францией за виноградные поля, а мы тут не при чем».

— Ты, Осип Давыдович, как думаешь? — обратился Иван Алексеевич к Штокману.

— Я предсказывать не умею, — уклончиво ответил тот, на вытянутой руке сосредоточенно рассматривая отделанное кольцо.

— Задерутся они, — быть и нам там. Хошь — не хошь, а придется, за волосы притянут, — рассуждал Валет.

— Тут, ребятаки, вот какое дело, — заговорил Штокман, мягко освобождая кусачки из пальцев Ивана Алексеевича.

Говорил он серьезно, как видно, собираясь основательно растолковать. Валет удобнее подхватил сползавшие с верстака ноги, на лице Давыдки округлились губы, не прикрывая влажную кипень плотных зубов. Штокман с присущей ему яркостью, сжато, в твердых, словно заученных, фразах обрисовал борьбу капиталистических государств за рынки и колонии. В конце его возмущенно перебил Иван Алексеевич:

— Погоди, а мы то тут, при чем?

— У тебя и у других таких же головы будут болеть с чужого похмелья, — улыбнулся Штокман.

— Ты не будь дитем, — язвил Валет, — старая поговорка: «Паны дерутся, а у хохлов чубы трясутся».

— Уугу-м, — насупился Иван Алексеевич, дробя какую-то громоздкую, неподатливую глыбу мыслей.

— Листницкий этот чево прибивается к Моховым? Не за дочерью ево топчет? — спросил Давыдка.

— Там уж коршуновский потомок топтался... — злословил Валет.

— Слышишь, Иван Алексеевич? Офицер чево там нюхает?

Иван Алексеевич встрепенулся, словно кнутом его под коленки жиганули.

— А? Што гутаришь?

— Задремал, дядя!.. Про Листницкова разговор.

— На станцию едет. Да, ишо новостиска: оттель выхожу, на крыльце кто бы вы думали? Гришка Мелехов. Стоит с кнутиком. Спрашиваю: «Ты чево тут, Григорий?» — «Листницкова пана везу на Миллеровскую».

— Он у них в кучерах, — вступился Давыдка.

— С панского стола об'едки схватывает.

— Ты, Валет, как цепной кобель, любовь обрешешь.

Разговор на минуту смолк. Иван Алексеевич поднялся итти.

— Ты не к стоянию спешишь? — с'ехидничал напоследок Валет.

— Мне каждый день стояние.

Штокман проводил всегдашних гостей и, замкнув мастерскую, пошел в дом.

В ночь под Пасху небо затянуло черногрудыми тучами, накрапывал дождь. Отсыревшая темнота давила хутор. На Дону, уже в сумерках, с протяжным, перекастистым стоном хряпнул лед, и первая с шорохом вылезла из воды, сжатая массивом поломанного льда, крыга. Лед разом взломало на протяжении четырех верст, до первого от хутора колена. Пошел стор ¹⁾. Под мерные удары церковного колокола, отбивавшего «двенадцать евангелий», на Дону, сотрясая берега, крушились, сталкиваясь, ледяные поля. У колена, там, где Дон горбатясь заворачивает влево, образовался затор. Гул и скрежет налезавших крыг доносило до хутора. В церковной ограде, испещренной блесками талых лужиц, гуртовались парни. Из церкви, через распахнутые двери на паперть, с паперти в ограду сползали гулкие звуки чтения, в решетчатых окнах праздничный и отрадный переливался свет, а в ограде парни щупали тихонько повизгивавших девок, целовались, вполголоса рассказывали побахные истории.

В церковной караулке толпились казаки, приехавшие к светлому богослужению с ближних и дальних хуторов. Сморенные усталю и духотой, висевшей в караулке, люди спали на лавках и у подоконников на полу.

На поломанных порожках курили, переговаривались о погоде и озимых.

— Ваши хуторные, как на поля выедут?

— На фоминой тронутся, должно.

— То-то добришша, у вас ить там песчаная степь.

— Супесь, по энту сторону лога — солончаки.

— Теперича земля напихает.

— Прошлый год мы пахали, — земля, как хрящ, до бесконца краю клеклая.

— Дунька, ты иде? — тоненьким голоском пицало внизу у крыльца караулки.

А у церковной калитки чей-то сиплый грубый голосина бубнил:

— Нашли иде целоваться, ах вы... Брысь отседа, пакостники! Приспичило вам, ядрена мать!

— Тебе пары нету? Иди нашу сучку целуй, — резонил из темноты молодой ломкий голос.

¹⁾ Стор — ледоход

— Су-у-учку? А вот я тебе...

Вязкий топот перебирающих в беге ног, порсканье и шелест девичьих юбок.

С крыши стеклянная звень падающей капли, и снова тот же медленный, тянкий, как черноземная грязь, голос.

— Запашник надьсь торговал у Прохора, давал ему двенадцать целковых — угинается. Энтот не продешевит...

На Дону плавный шелест, шорох, хруст. Будто внизу над хутором идет принаряженная, мощная, ростом с тополь, баба шелестя невиданно большим подолом.

Вполночь, когда закрутела кисельная чернота, к ограде верхом на незаседланном коне под'ехал Митька Коршунов. Слез, привязал к гриве повод уздечки, хлопнул горячившуюся лошадь ладонью. Поставил, прислушиваясь к чавканью копыт, и, оправляя пояс, пошел в ограду. На паперти снял папаху, согнул в поклоне неровной скобкой подбритуую голову и расталкивая баб протискался к алтарю. По левую сторону черным табуном густились казаки, по правую цвела лазоревая смесь бабьих нарядов. Митька разыскал глазами стоявшего в первом ряду отца, подошел к нему. Перехватил у локтя руку Мирона Григорьевича, поднимающуюся в крестном знамени, шепнул в заволокатевшее ухо:

— Батя, выдь на час.

Пробираясь сквозь сплюснутую завесу различных запахов Митька дрожал ноздрями: валял с ног чад горящего воска, смрад разопревших в поте бабьих тел, могильная вонь слежалых нарядов (тех, которые вынимаются из-под испода сундуков только на Рождество да на Пасху), разило мокрой обувной кожей, нафталином, выделениями говельщицких изголодавшихся желудков.

На паперти Митька, грудью прижимаясь к отцову плечу, сказал:

— Наталья помирает!

XVII

Григорий вернулся со станции, куда отвозил Евгения, на вербное воскресенье. Оттепель с'ела снег; дорога испортилась в каких-нибудь два дня.

В Ольховом Рогу, хохлачьей слободе, в 25 верстах от станции, переправляясь через речку, едва не утопил лошадей. В слободу приехал перед вечером. За прошедшую ночь лед поломало, пронесло, и речка, пополняемая коричневыми потоками талой воды, пухла, пенилась, подступая к уличкам.

Постоялый двор, где останавливались кормить лошадей по дороге на станцию, был на той стороне. За ночь могло еще больше прибыть воды, и Григорий решил переправиться.

Под'ехал к тому месту, где сутки назад переезжали по льду; вывалившаяся из берегов речка гнала по раздвинувшемуся руслу прязные воды, легко кружила на середине отрезок плетня и половинку колесного обода. На оголенном от снега песке виднелись притертые санными полозьями свежие следы. Григорий остановил потных, с шмотьями мыла между ног, лошадей и соскочил с саней рассмотреть следы. Подреза прорезали тонкие полоски. У воды след слегка заворачивал влево и тонул в воде. Григорий смерил расстояние взглядом: двадцать сажений — самое большее. Подошел к лошадям проверить запряжку. В это время из крайнего двора вышел, направляясь к нему, пожилой в лисьем треухе хохол.

— Ездют тут?— спросил Григорий, махая вожжами на коричневый перекипающий поток.

— Та издют. Ноне утром проихалы.

— Глубоко?

— Ни. В сени, мабуть, зальется.

Григорий подобрал вожжи и, готовя кнут, толкнул лошадей коротким, повелительным — но!.. Лошади, храпя и нюхая воду, вошли нехотя.

— Но!— свистнул Григорий кнутом, привставая на козлах.

Гнедой широкозадый конь, левый в запряжке, мотнул головой,— была не была,— и рывком натянул постромки. Григорий искоса глянул под ноги: вода клехтала у грядушки саней. Лошадям сначала по колено, потом сразу по грудь. Григорий хотел повернуть обратно, но лошади сорвались и, всхрапнув, поплыли. Задок саней занесло, поворачивая лошадей головами на течение. Через спины их перекатами шла вода, сани колыхало и стремительно тянуло назад.

— А-я-яй!.. А-а-ай, правь!..— горланил, бегая по берегу, хохол и зачем-то махал сдернутым с головы лисьим треухом.

Григорий в диком остервенении, не переставая, улюлюкал, понукал лошадей. Вода курчавилась за оседавшими санями мелкими воронками. Сани резко стукнуло о торчавшую из воды сваю (след унесенного моста) и перевернуло с диковинной легкостью. Охнув, Григорий окунулся с головой, но вожжи не выпустил. Его тянуло за полы полущубка, за ноги, влекло с мягкой настойчивостью, пестая, переворачивая, возле колыхавшихся саней. Он успел ухватиться левой рукой за полоз, бросил вожжи, задыхаясь стал перехватывать руками, добираясь до барка. Он уже схватил-было пальцами окованный конец барка,— в этот миг гнедой, сопротивлявшийся течению, с силой резнул

его задней ногой в колено. Захлебываясь, Григорий перекинулся руками и уцепился за постромку. Его рвало от лошадей, разжимало пальцы с удвоенной силой. Весь в огненных колючках холода он дотянулся до головы гнедого, и прямо в расширенные зрачки Григория вонзила лошадь бешеный, налитый смертельным ужасом, взгляд своих кровавистых глаз.

Несколько раз упустил Григорий ослизлые ремни поводов; заплывал, хватал, но поводья скользили из пальцев. Как-то схватил и внезапно черкнул ногами землю.

— Н-о-о-о!!! — вытягиваясь до предела, метнулся вперед и пал на пенистой отмели, сбитый с ног лошадиной грудью.

Лошади, подмяв его, вихрем вырвали из воды сани, обессиленные, в дымящейся дрожи мокрых спин стали в нескольких шагах.

Не чувствуя боли, Григорий вскочил на ноги; холод облепил его, будто нестерпимо горячим тестом. Он дрожал больше, чем лошади, чувствовал, что на ноги он также слаб сейчас, как грудной ребенок. Опамятовался и, перевернув сани на полозья, согревая лошадей, пустил их наметом. В улицу влетел, как в атаке, в первые же раскрытые ворота направил лошадей, не замедляя бега.

Хохол-хозяин попался радушный. К лошадям послал сына, а сам помог Григорию раздеться, и тоном, недопускавшим никаких возражений, приказал жене:

— Затопляй пичь!

Григорий отлежался на печи в хозяйских штанах, пока высушилась его одежда, и, повечеряв постными щами, лег спать.

Выехал он — ни свет, ни заря. Лежал впереди путь в сто тридцать пять верст, и дорога была каждая минута. Грозил степная весенняя путина: в каждой ярке и балке — шумные потоки снеговой воды.

Черная оголенная дорога резала лошадей. По заморозку-утреннику дотянул до тавричанского участка, лежавшего в четырех верстах от дороги, и стал на развилке. Дымились потные лошади, сзади лежал сверкающий на земле след полозьев. Григорий бросил в участке сани, подвязал лошадям хвосты, поехал верхом, ведя вторую лошадь в поводу. Утром на вербное воскресенье добрался до Ягодного.

Старый пан выслушал подробный рассказ о дороге, пошел глянуть на лошадей. Сашка водил их по двору, сердито поглядывая на их глубоко ввалившиеся бока.

— Как лошади? — спросил пан, подходя.

— Сама собой понятно, — буркнул Сашка, не останавливаясь, сотрясая седую прозелень круглой бороды.

— Не перегнал?

— Нету. Гнедой прудь потер хомутом. Пустьяковина.

— Отдыхай,— повел пан рукою в сторону дожидавшегося Григория.

Тот пошел в людскую, но отдохнуть пришлось только ночь. На следующий день утром пришел Вениамин в новой сатиновой голубой рубаше, в жирке всегдашней улыбки.

— Григорий, к пану. Сейчас же!

Генерал шлепал по залу в валеных туфлях. Григорий раз кашлянул, переминаясь с ноги на ногу у дверей зала, в другой — пан поднял голову.

— Тебе чего?

— Вениамин покликал.

— Ах, да. Иди седлай жеребца и Крепыша. Скажи, чтоб Лукерья не выносила собакам. На охоту!

Григорий повернулся итти. Пан вернул его окриком:

— Слышишь? Поедешь со мной.

Аксинья сунула в карман григорьева полушубка пресную пышку, шипя.

— Поисть не даст, вражина! Мордуют ево черти!.. Ты б, Гриша, хучь шарф повязал.

Григорий подвел к палисаднику оседланных лошадей, свистом созвал собак. Пан вышел в поддевке синего сукна, подпоясанной наборным ремнем. За плечем висела никкелевая с пробковыми стенками фляга, свисая с руки, гадюкой волочился сзади витой арапник.

Держа поводья, Григорий наблюдал за стариком и удивился легкости, с которой он метнул на седло свое костистое старое тело.

— За мной держи,— коротко приказал генерал, рукой в перчатке ласково разбирая поводья.

Под Григорием взыграл и пошел боком, по-кочетиному неся голову, четырехлеток-жеребец. Он был некован на задние и, попадая на хрушкий ледок, оскользался, приседая, надавал на все ноги. В сутуловатой, но надежной посадке, баюкался на широкой спине Крепыша старый пан.

— Мы куда?— ровняясь спросил Григорий.

— К Ольшанскому баераку,— густым басом отозвался пан.

Лошади шли дружно. Жеребец просил поводья, по-лебединому изгибая короткую шею, косил выпуклым глазом на седока, норовил укусить за колено. Поднялись на изволок, и пан пустил Крепыша машистой рысью. Собаки бежали сзади Григория, раскинувшись короткой цепкой. Черная, старая сука бежала, касаясь горбатой мордой кончика лошадиного хвоста. Жеребец приседал, горячась, хотел щелкнуть задком назойливую суку, но та приотставала, тоскующим старушечьим взглядом ловила взгляд оглядывавшегося Григория.

До Ольшанского баерака добежали в полчаса. Пан поехал по баерачной хребтине, лохматой от коричневого старюки-бурьяна. Григорий спустился на низ, сторожко вглядываясь в промытое, из'язвленное провалами днище баерака. Он изредка поглядывал на пана. Сквозь стальную сизь голого и редкого ольшанника видна была четкая, как нарисованная, фигура старика. Припадая к луке, он привстал на стременах, и на спине его сине морщилась перетянутая казачьим поясом поддевка. Собаки шли по холмистой изволоке, держались кучей. Переезжая крутую промоину, Григорий свесился с седла.

«Закурить бы. Зараз пушу повод и достану кiset»,— подумал он, скидая перчатку, шурша в кармане бумагой.

— Трави!.. — ружейным выстрелом гукнул за баерачной хребтиной крик.

Григорий вздернул голову: на острогорбый гребень выскочил пан и, высоко подняв арапник, пустил Крепыша карьером.

— Трави!..

Пересекая хлюпкое, заросшее кугой и камышаткой днище баерака, скользя и пригинаясь к земле, быстро бежал грязно-бурый, клочковатый в пахах, невылинявший волк. Перепрыгнув ложок, он стал и, живо повернувшись боком, увидел собак. Они шли на него лавой, охватывая подковой, отрезая от леса, начинавшёгося в конце баерака.

Пружинисто покачиваясь, волк выскочил на кургашек — давнишнюю сурчину, — шибко пошел к лесу. Почти навстречу ему скупыми бросками двигалась старая сука, сзади доспевал седой высокий кобель Ястреб — один из лучших и самый злой в гоньбе.

Волк на минуту замялся, словно в нерешительности. Григорий, поднимаясь из баерака, кругообразно поводя поводьями, на минуту потерял его из вида, а когда выскочил на бугор, — волк мельтешил далеко, далеко; по черной ряднине степи, сливаясь с землей, плыли в бурьянах черные собаки, а дальше, сбоку, полосу Крепыша рукоятью арапника, обскакивал крутой яр старый пан. Волк перебивал к соседнему баераку, близко наседали, охватывали собаки, и почти над ключьями волчьих пахов висел, отсюда казавшийся Григорию белесым лоскутком, седой кобель Ястреб.

— Тра-а-ави-и-и!.. — доплеснуло до Григория крик.

Он выпустил жеребца во весь мах, тщетно стараясь разглядеть, что происходило впереди; глаза застили слезы, уши забивал режущий свист рассекаемого ветра. Охота захватила Григория. Припадая к шее жеребца, остро взвонявшейся подтом, он вихрился в буйной скачке. Пока доскакал до баерака, ни волка, ни собак не было. Через минуту его догнал пан. Осадив Крепыша на всем скаку, крикнул:

— Куда пошел?!

— В баерак должно.

— Обскаживай слева!.. Гони!..

Пан всадил каблуки в бока пляшущей на дыбах лошади и покакал направо. Григорий, спускаясь в ложбину, натянул поводья, гикнув, вылетел на ту сторону. Версты полторы торопил взопревшего жеребца плетью и криком. Вязкая, непросохшая земля налипала на копыта, ошметками осыпала лицо. Длинный баерак, излучисто вившийся по бугру, повернул вправо, разветвился на три отножины. Григорий пересек поперечную отножину и помчался по пологому склону, завидев вдали черную цепку собак, гнавших волка по степи. Его, как видно, отбили от сердцевины баерака, особенно густо заросшей дубом и ольхами. Там, где сердцевина кололась на три отножины и баерак покато стекал тремя исчерна-сизыми рукавами, волк вышел на чистое и, выгадав с сотню саженой, шибко шел под гору в суходол, сплошь залохматевший одичалой давнишней зарослью бурьяна и сухого татарника.

Привставая на стремянах, Григорий следил за ним, вытирал рукавом слезы, мочившие нахлестанные ветром глаза. Мельком взглянув влево, он угадал свою землю. Жирным косым квадратом лежала деляна, — та, что осенью пахал он с Натальей. Григорий нарочно направил жеребца через пахоту, и за те небольшие минуты, в которые жеребец, спотыкаясь и качаясь, пересекал пахоту, в сердце Григория стыл, пепелился охвативший его охотничий пыл. Уже равнодушно понукал он тяжело сопевшего жеребца и, проследив за паном, — не оглядывается ли, — перешел на куцый намет.

Вдали у Красного лога виднелся пустой стан пахарей. В стороне, на свежей, отливавшей бархатом пахоте ползли три пары быков, влачивших плуг.

«Наши хуторные. Чья это земля?.. Да, никак Аникушкина», — скользил Григорий прищуренными глазами, угадывая быков и ходившего за плугом человека.

— Взя-а-а-а-ать!..

Григорий увидел, как двое казаков, бросив плуг, бежали наперез волку, норовившему прорваться к логу. Один рослый, в казачьей краснооколой фуражке, с спущенным под подбородок ремешком, махал выдернутой из ярма железной занозой. И тут-то неожиданно волк сел, опустив зад в глубокую борозду. Седой кобель Ястреб с разлета перемахнул через него и упал, поджимая передние ноги; старая сука, пытаясь остановиться, чертила задом бугристую пахоту и, не удержавшись, напоролась на волка. Тот резко мотнул головой, сука пластом зарикошетила в сторону. Черный громадный клуб насевших на волка собак, качаясь, проплыл по пахоте несколько саженой и покатился

шаром. Григорий подскакал на полминуты вперед пана, прыгнул с седла и упал на колени, относя за спину руку с охотничьим ножом.

— Вот он!.. Исподний!.. В глотку!..— знакомым запыхавшимся голосом крикнул подбежавший казак с занозой. Он, сопя, прилег рядом с Григорием и, на четверть оттягивая кожу на шее вгрызавшегося в волчье брюхо кобеля, пятерней стреножил волку передние ноги. Под вздыбленной, двигающейся под рукой жесткой шерстью Григорий нащупал трубку горла, коротко дернул ножом.

— Собак!.. Со-о-бак!.. Гони!..— паралично хрипел посиневший пан, падая с седла на мягкость пахоты.

Григорий с трудом отогнал собак, оглянулся на пана.

Поодаль от него, в сторонке стоял Степан Астахов в фуражке с приспущенным на подбородок лакированным ремешком. Он вертел в руках железную занозу, дрожал посеревшей нижней челюстью и бровями.

— Ты откуда, молодец?— обратился к Степану пан,— с какого хутора?

— С Татарскова, — переждав время, отозвался Степан и сделал шаг в сторону Григория.

— Чей?

— Астахов.

— Вот что, любезный, ты когда едешь домой?

— Ноне к ночи.

— Привези нам эту тушку, — указал пан ногою на волка, в агонии редко клацавшего зубами, поднимавшего кверху выпрямленную заднюю ногу с бурым свалывшимся клоком шерсти на лодыжке.

— Что стоит заплачу, — посулил пан и, вытирая шарфом пот с багрового лица, отошел в сторону, скособочился, снимая с плеча узкий, прикрепленный к фляге, ремешок.

Григорий пошел к жеребцу. Ставя ногу в стремя, оглянулся: Степан, об'ятый неуёмной дрожью шел к нему, поводя шеей, плотно прижав к пруди тяжелые крупные руки.

XVIII

У соседки Коршуновых, Пелагеи, в ночь под субботу на страстной неделе собрались бабы на посиделки. Гаврила Майданников — муж Пелагеи — писал из Лодзи, сулился притти в отпуск к Пасхе. Пелагея выбелила стены и прибрала в хате еще в понедельник, а с четверга ждала, выглядывала за ворота, подолгу стояла у плетня простоволосая и худая, с лицом, покрытым плитами матежин; прикрыв глаза ладонью всматривалась — не едет ли, случаем? Ходила она на сносях, но за-

конно: в прошлом году летом приезжал Гаврила из полка, привез жене польского ситцу, прогостил недолго: четыре ночи переспал с женой, а на пятые сутки напился, ругался по-польски и по-немецки, плача, распевал давнишнюю казачью песню о Польше, сложенную еще в 1831 году. С ним за столом сидели приятели и братья, пришедшие проводить служивого, глотали водку, до обеда подпевали.

Говорили про Польшу, што богатая,
А мы разузнали — голь проклятая.
У этой у Польши — корчемка стоит,
Корчма польская, королевская.

У этой корчемки три их молодца пьют,
Пруссак, да поляк, да млад донской казак.
Пруссак водку пьет — монеты кладет,
Поляк водку пьет — червонцы кладет,

Казак водку пьет — ничево не кладет;
Он по корчме ходит — шпорами гремит,
Шпорами гремит — шинкарку манит:
— Шинкарочка-душечка, поедем со мной,

Поедем со мной к нам на Тихий Дон.
У нас на Дону, да не по-вашему живут;
Не ткут, не прядут, не сеют, не жнут,—
Не сеют, не жнут, да чисто ходют.

А с обеда распрощался Гаврила с семьей и уехал. С того дня и стала Пелагея на подол рубахи заглядывать.

Наталье Коршуновой так объясняла она причину беременности:

— Перед тем, как прийти Гаврюше, видала я, милушка, сон. Кубыть иду я по займищу, а по переди меня наша старая корова, какую мы летось на Спас продали: идет она, а из сиськов молоко дорогу вилюжит... «Господи, думаю, как же это я ее так доила?» После этого приходит ко мне бабка Дроздыха за хмелинами, я ей и расскажи сон, а она: «отнеси, гришь, на коровий баз кусочек воску, отлони от свечки, скатай в шарик и отнеси, в коровий свежий помет закопай, а то беда под окном караулит». Кинулась я, а свечки-то нету, была одна — ребята покатали, тарантулов из норь выманували, што ли. Тут пришел Гаврюша — вот она и беда. До этого три года рубахи сьмала, а теперича ишь... — сокрушалась Пелагея, тыча пальцем в свой вздувшийся живот.

Ожидая мужа, Пелагея горюнилась, скучала без людей, поэтому в пятницу созвала баб-соседок время разделить. Пришла Наталья с недозвязанным крючковым чулком (заходила весна, — сильнее зяб дед Гришака), она была оживлена: чаще, чем нужно, смеялась чужим шуткам, — просто ей не хотелось, чтоб видели бабы, что бдрет ее тоска по мужу.

Пелагея, свесив с печки босые в фиолетовых прожилках ноги, подтрунивала над молодой занозистой бабенкой Фросей.

— Как же ты, Фроська, казака свою избил?

— Не знаешь как? По спине, по голове, по чем пришлось.

— Я не про то, как у вас завелось-то?

— Так и завелось,— нехотя отвечала та.

— Ты б свою прихватила с чужой, аль смолчала бы? — медленно расставляя слова спросила длинная жердястая баба — сноха Кашулина Матвея.

— Расскажи, Фросинья.

— Нечево уж!.. Нашли о чем гутарить...

— Не кобенься, тут все свои.

Фрося, выплевывая в руку подсолнечную лузгу, улынулась.

— Я давно за ним примечала, а тут пересказывают мне, мол, твой на мельнице с задонской жалмеркой мирошничает. Я туда, они возля просорушки...

— Што ж, Наталья, про мужа не слыхать? — перебила кашулинская сноха, обращаясь к Наталье.

— В Ягодном он... — тихо ответила та.

— Думаешь жить с ним, нет ли?

— Она, может, и думала б, да он об ней не понимает,— вмешалась хозяйка. Наталья почувствовала, как горячая до слез кровь плеснулась ей в лицо. Она склонилась над чулком голову, исподлобья глянула на баб и видя, что на нее смотрят, сознавая, что краски стыда не скрыть от них, намеренно, но неловко, так, что это заметили все, уронила с колен клубок и нагнулась, шаря пальцами по холодному полу.

— Наплюй на нево, бабонька. Была б шея, а ярмо будет,— с нескрываемым сожалением посоветовала одна.

Деланное оживление Натальи потухло искрой на ветру. Бабы перекинулись в разговоре на последние сплетни, на пересуды. Наталья вязала молча. С трудом высидев до конца, она ушла, унося в душе неоформленное решение. Стыд за свое неопределенное положение (она все не верила, что Григорий ушел навсегда и, прощая, все ждала его), толкнул ее на следующий поступок: решила послать тайком от домашних в Ягодное к Григорию, чтобы узнать, совсем ушел он и не одумался ли? Пришла она от Пелагеи поздно. В горенке сидел дед Гришака, читал затрепанное, закапанное воском, в кожаном переплете, Евангелие. Мирон Григорьевич в кухне довязывал крыло к венгерю, слушал рассказ Михея о каком-то давнишнем убийстве. Мать Натальи, уложив детей, спала на печке, оставив в дверь черные подошвы ног. Наталья разделась и бесцельно прошлась по комнатам. В зале в угле,

отгороженном доскою, — ворох оставленного на посев конопляного семени и мышинный писк.

Она на минуту задержалась в дедовской горнице. Постояла у угольника, тупо глядя на стопку церковных книг, сложенных под образами.

— Дедуня, у тебя бумага есть?

— Какая бумага? — поверх очков собрал дед густую связку морщин.

— На какой пишут.

Дед Гришка порывлся в Псалтире, вынул смятый, провонявший затхлым канунным медом и ладаном лист.

— А карандаш?

— У отца спроси. Иди, касатка, не мешайся.

Карандашный огрызок добыла Наталья у отца. Села за стол, мучительно передумывая давно продуманное, вызывавшее на сердце тупую ноющую боль.

Утром она, посулив Гетьку водки, снарядила его в Ягодное с письмом.

«Григорий Пантелевич!

Пропиши мне, как мне жить и навовсе, или нет, потеряная моя жизнь? Ты ушел из дому и не сказал мне ни одново словца. Я тебя ничем не оскорбила, и я ждала, что ты мне развяжешь руки и скажешь, что ты ушел навовсе, а ты отроился от хутора и молчишь, как мертвый.

Думала, сгоряча ты ушел, и ждала, что возвратнешься, но я разлучать вас не хочу. Пуцай лучше одна я в землю затоптанная, чем двое. Пожалей напоследок и пропиши. Узнаю, буду одно думать, а то я стою посередь дороги.

Ты, Гриша, не серчай на меня, ради Христа.

Наталья».

Хмурый в предчувствии близкого запоя Гетько увел на гумно лошадь и, украдкой от Мирона Григорьевича обратав ее, поскакал охлюпкой. Сидел он на лошади той присущей не казакам неловкой посадкой, болтал на рыси рватыми локтями и, провожаемый назойливыми криками игравшихся на проулке казачат, ехал шибкой трюпкой.

— Хохол!.. Хохол!..

— Хохол-мазница!

— Упадешь!..

— Кобель на плетне!.. — вслед ему кричали ребятишки.

Вернулся с ответом он к вечеру. Привез синий клочок оберточной сахарной бумаги и, вынимая его из-за пазухи, подмигнул Наталье.

— Дорога невозможна, мия доноушка! Така тряска, шо Гетько уси пэчонки поотбывав!

Наталья прочла и посерела. В четыре приема вошло в сердце зубчато-острое, разодравшее какую-то ткань.

Четыре расплывчатых слова на бумажке: «Живи одна. Мелехов Григорий».

Торопясь, словно не надеясь на свои силы, Наталья ушла со двора и легла на кровать. Лукинишна на ночь затопляла печь, чтобы пораньше отстрять пасхи.

— Наташка, иди пособи мне! — звала она дочь.

— Голова болит, маманя. Я чудок полежу.

Раскрытая Лукинишна высунулась в дверь.

— Ты бы рассольцу. А? До разу очунеешься.

Наталья сухим языком коснулась холодных губ, промолчала.

До вечера лежала она, с головой укрывшись теплым пуховым платком. Легкий озноб сотрясал ее согнутое калачиком тело. Мирон Григорьевич с дедом Гришакой уже собрались итти в церковь, когда она встала и вышла на кухню. На висках ее гладко причесанных черных волос глянцеви тел пот, масляной нездоровой поволокой задержались глаза.

Мирон Григорьевич, застегивая на ширинке широких шаровар длинный ряд пуговиц, скосился на дочь.

— Приспичило тебе, дочушка, хворать. Пойдем к светлой заутрени.

— Идите, я послая приду.

— К шалошному разбору?

— Нет, я вот оденусь... Мне одеться, и я пойду.

Казаки ушли. В курене остались Лукинишна и Наталья. Вялая она переходила от сундука к кровати, невидящими глазами оглядывала взвороченный в сундуке ворох нарядов; мучительно что-то обдумывая, шепча губами. Лукинишна подумала, что Наталья колеблется в выборе наряда и с материнским великодушием предложила:

— Надевай, милая, мою синюю юбку. Она тебе теперича как раз будет.

К Пасхе Наталье не сшили обнью, и мать, вспомнив как она, еще в девках, любила по праздникам надевать ее синюю, узкую в подоле юбку, сама навязалась с своим добром, думая, что Наталья загоревалась над выбором.

— Наденешь, што ль? Я достану.

— Нет. Я в этой пойду, — бережно вытащила Наталья свою зеленую юбку и вдруг вспомнила, что в этой юбке была она, когда Григорий женихом приезжал ее проведать, под прохладным навесом сарая в первый раз пристыдил ее летучим поцелуем, и затряслась в подств-

пившем рыдании, грудью наваливаясь на поднятую ребром крышку сундука.

— Наталья! Ты чево?.. — всплеснула руками мать.

Наталья задушила просившийся наружу крик, осилив себя засмеялась скрипучим деревянным смехом.

— Штой-то нашло на меня... ноне.

— Ох, Наташка, примечаю я...

— И чево вы, маманя, примечаете? — с неожиданной злобой крикнула Наталья, комкая в пальцах зеленую юбку.

— Не сдобруешь ты, гляжу... замуж надо.

— Будя!.. Побыла!..

Наталья пошла в свою горницу одеваться, вскоре снова пришла на кухню уже одетая, тонкая по-девичьи, иссиня бледная, в прозрачной синеве невеселого румянца.

— Иди одна, я ишо не управилась, — сказала мать.

Сунув за обшлаг рукава утирку, Наталья вышла на крыльцо. От Дона нес ветер шорох плывущего льда и пресный живительный запах талой сырости. Придерживая левой рукой подол юбки, обходя перламутровую синь раскинутых по улице лужищ, Наталья дошла до церкви. Дорогой пыталась она вернуть себе прежнее уравновешенное состояние духа, думала о празднике, обо всем отрывочно и туманно, но мысль упрямо возвращалась к синему клочку оберточной бумаги, спрятанному на груди, к Григорию и к той счастливой, которая над ней теперь снисходительно смеется и, быть может, даже жалеет...

Она вошла в ограду. Ей загородили дорогу парни. Обходя их, Наталья услышала:

— Чья это? Ты угадал?

— Да это Наташка Коршунова.

— У ней, гутарют, кила. От этова ее и муж бросил.

— Брешешь! Она с свекором, с Пантелеем хромым, спуталась.

— Вон што-о-о-о! Стал-быть, Гришка через это и убер из дому?

— А то через чево ж? Она и зараз...

Наталья, спотыкаясь о неровную стилку камней, дошла до паперти. Вслед ей вполголоса камнем пустили грязное, позорное слово. Под хихиканье стоявших на паперти девок Наталья прошла в другую калитку и пьяно раскачиваясь побежала домой. Перевела дух у ворот своего база, вошла, путаясь ногами в подоле, кусая распухшие, искусанные в кровь губы. В сиреневой, кочующей над двором темноте чернела приоткрытая дверь сарая. В одно злое усилие собрала Наталья оставшийся комочек сил, добежала до дверей и торопясь шагнула через порог. В сарае — сухая прохлада, запах ременной упряжи и слежалой соломы. Она ощупью, без мысли, без чувства, в черной тоске, когтившей ее

заполненную позором и отчаянием душу, добралась до угла. Взяла в руки держак косы, сняла с него косу (движения ее были медлительно-уверенны, точны) и, запрокинув голову, с силой и опалившей ее радостной решимостью резнула острием по горлу. От дикой горячей боли упала, как от удара, и чувствуя, смутно понимая, что не доделала начатое, — встала на четвереньки, потом на колени; торопясь (ее пугала заливавшая грудь кровь), обрывая дрожащими пальцами кнопки, зачем-то расстегнула кофточку. Одной рукой отвела тугую неподатливую грудь, другой направила острие косы. На коленях доползла до стены, уперла в нее тупой конец, тот, который надевается на держак, и, заломив над запрокинутой головой руки, грудью твердо подалась вперед, вперед... Ясно слышала, ощущала противный капустный хруст разрезаемого тела, нарастающая волна острой боли полымем прошла по груди до горла, звенящими иглами воткнулась в уши...

В курене скрипнула дверь. Лукинишна, щупая ногой порожек, сходила с крыльца. С колокольни размеренные сыпались удары. На Дону с немолчным скрежетом ходили на дыбах саженные крыги. Радостный, полноводный, освобожденный Дон нес к Азовскому морю ледяную свою неволю.

XIX

Степан подошел к Григорию и, ухватясь за стремя, плотно прижался к потному боку жеребца.

— Ну, здорово, Григорий!

— Слава богу.

— Што ж ты думаешь? А?

— Чево мне думать-то?

— Сманил чужую жену и... пользуешься?

— Пусти стремя.

— Ты не бойсь... Я бить не буду.

— Я не боюсь, ты брось это! — румянея в скулах, повысил Григорий голос.

— Нынче я драться с тобой не буду, не хочу... Но ты, Гришка, помни мое слово: рано аль поздно убью!

— Слепой сказал: посмотрим.

— Ты крепко помни это. Обидел ты меня!.. Выхолостил мою жизнь, как боровка... Видишь вон, — Степан протянул руку черными ладонями вверх; — пашу, а сам не знаю на што. Аль мне одному много надо? Я бы походя и так прозимовал. А только скука меня убивает... Крепко ты меня обидел, Григорий!..

— Ты мне не жалься. не пойму. Сытый голоднова не разумеет.

— Это-то так, — согласился Степан, снизу вверх глядя Григорию в лицо и вдруг улыбнулся простой ребячьей улыбкой, расщепляя углы глаз на множество тонких морщинок, — жалкую я об одном, парень... дюже жалкую... Помнишь, в позапрошлом годе на масляну дрались мы в стенках?

— Это когда?

— Да в энтот раз, как постовала убили. Холостые с женатыми дрались, помнишь? Помнишь, как я за тобой гнал? Жидковат ты был, куга зеленая супротив меня. Я пожалел тебя, а ежели б вдарил на бегу — надвое пересек бы! Ты бег шибко, напружинился весь, ежели б здарить с потягом по боку, — не жил бы ты на свете!

— Не горюй, ишо как-нибудь цокнемся.

Степан потер лоб рукой, что-то вспоминая.

Пан, ведя Крепыша в поводу, крикнул Григорию.

— Трогай!

Все также держась левой рукой за стремя, Степан пошел рядом с жеребцом, Григорий сторожил каждое его движение. Он сверху видел русые обвисшие усы Степана, густую щетину давно небритой бороды. На подбородке Степана висел лакированный, во многих местах потрескавшийся ремешок фуражки. Лицо его, серое от грязи, с косыми полосами — следами стекавшего пота, было смутно и незнакомо. Глядя на него, Григорий словно с горы на далекую задернутую дождевой марью степь глядел. Серая усталь, пустота испепеляли степаново лицо. Он, не прощаясь, отстал. Григорий ехал шагом.

— Погоди-ка. А как же... Аксютка как?

Григорий, плетью сбивая с подошвы сапога приставший комочек грязи, ответил:

— Ничево.

Он, приостановив жеребца, оглянулся. Степан стоял широко расставив ноги, перекусывая оскаленными зубами бурьянную былку. Григорию стало его безотчетно жаль, но чувство ревности оттеснило жалость; поворачиваясь на скрипящей подушке седла, он крикнул:

— Она об тебе не сохнет, не горюй!

— На самом деле?

Григорий хлестнул жеребца плетью между ушей и поскакал, не отвечая.

XX

На шестом месяце, когда скрывать беременность было уже нельзя, Аксинья призналась Григорию. Она скрывала, боясь, что Григорий не поверит в то, что его ребенка носит она под сердцем, желтела от подступавшей временами тоски и боязни, чего-то выжидала.

И в первые месяцы ее рвало от мясного, но Григорий не замечал, а если и замечал, то, не догадываясь о причине, не придавал особого значения.

Разговор происходил вечером. Волнуясь Аксинья сказала и жадно искала в лице Григория перемены, но он, отвернувшись к окну, досадливо покашливал.

— Што ж ты молчала раньше?

— Я робела, Гриша... думала, што ты бросишь...

Барабанив пальцами по спинке кровати, Григорий спросил:

— Скоро?

— На спасы, думается...

— Степанов?

— Твой.

— Ой ли?

— Подчитай сам... С прорубки это...

— Ты не бреш, Ксюшка! Хучь бы и от Степана, куда ж теперь денешься? Я по совести спрашиваю.

Роняя злые слезы, Аксинья сидела на лавке, давилась горячим шепотом.

— С ним сколько годов жила и ничево... Сам подумай!.. Я нехворая баба была... Стал-быть, от тебя понесла, а ты...

Григорий об этом больше на заговаривал. В его отношения к Аксинье вплелась новая прядка настороженной отчужденности и легкой насмешливой жалости. Аксинья замкнулась в себе, не напрашиваясь на ласку. Она подурнела за лето, но статную фигуру ее почти не портила беременность: общая полнота скрадывала округлившийся живот, а исхудавшее лицо по-новому красили тепло похорошевшие глаза. Она легко управлялась с работой черной кухарки. В этот год рабочих было меньше, меньше было истряпни.

Капризной стариковской привязанностью присох к Аксинье дед Сашка. Может быть, потому, что относилась она к нему с дочеринской заботливостью: перестирывала его бельишко, латала рубахи, баловала за столом куском помягче, послаже, и дед Сашка, управившись с лошадьми, приносил на кухню воды, мял картошку, варившуюся для свиней, услуживал всячески и, приплясывая, разводя руками, оголял голые десны рта.

— Ты меня пожалела, а я в долгу не останусь! Я тебе, Аксиньюшка, хоть из души скляночку выну. Ить я без бабьева догляду пропадал! Вша источила! Ты, што понадобится, говори.

Григорий, избавившись от лагерного сбора по ходатайству Евгения Николаевича, работал на покосе, изредка возил старого пана в станицу, остальное время ходил с ним на охоту за стрепетами, или

ездили с подгоном на дудаков. Легкая, сытая жизнь его портила. Он обленился, растолстел и выглядел старше своих лет. Одно беспокоило его — предстоящая служба. Не было ни коня, ни sprawy, а на отца плоха была надежда. Получая за себя и Аксиныю жалованье, Григорий скупился, отказывал себе даже в табаке, надеясь на сколоченные деньги, не кланяясь отцу, купить коня. Обещался и пан помочь. Предположения Григория, что отец ничего не даст, вскоре подтвердились. В конце июня приехал Петро проведать брата, в разговоре упомянул, что отец гневается на него попрежнему и как-то заявил, что не будет справлять строевого коня; пусть, дескать, идет в местную команду.

— Ну, это он пушай не балуется. Пойду на службу на своем (Григорий подчеркнул это слово) коне.

— Откель возьмешь? Выпляшешь? — пожевывая ус улыбнулся Петро.

— Не выпляшу, так выпрошу, а то и украду.

— Молодец!

— На жалованье куплю, — уже серьезно пояснил Григорий.

Петро посидел на крылечке, расспросил о работе, харчах, жалованьи, на все придакивая, жевал обгрызенный окомелок усыны и, выедавав, сказал Григорию на прощанье:

— Шел бы ты домой жить, хвост-то ломать нечево. Думаешь угоняешься за длинным рублем?

— Я за ним не гоняюсь.

— Думаешь с своей жить? — свернул Петро разговор.

— С какой своей?

— С этой.

— Покеда думаю, а што?

— Так, с интересу попытал.

Григорий пошел его проводить. Спросил напоследок.

— Как там дома?

Петро, отвязывая от перила крыльца лошадь, усмехнулся.

— У тебя домов, как у зайца теремов. Ничево, живем помаленечку. Мать — она об тебе скучает. А сенов ноне наскребли, три прикладка свершили.

Волнуясь Григорий разглядывал старую карнаухую кобылицу, на которой приехал Петро.

— Не жеребилась?

— Нет, брат, яловая оказалась. Гнедая, энта какую у Христони выменяли, ожеребилась.

— Што привела?

— Жеребца, брат. Там жеребец — цены нету! Высокий на ногах, бабки правильные и в грудях хорош. Добрячий конь будет.

Григорий вздохнул.

— Скучаю по хутору, Петро. По Дону скучился, тут воды текучей не увидишь. Тошное место!

— Приезжай проведать, — крихтел Петро, наваливаясь животом на острую хребетину лошади и занося левую ногу.

— Как-нибудь.

— Ну, прощай!

— Путь добрый!

Петро уже выехал со двора, вспомнив, закричал стоявшему на крыльце Григорию.

— Наталья-то... Забыл... беда какая...

Ветер, коршуном круживший над двором, не донес до Григория конца фразы; Петра с лошастью спеленала шелковая пыль, и Григорий, не расслышав, махнул рукой и пошел к конюшне.

Сухостойное было лето. Редко падали дожди, и хлеб вызрел рано. Только что управились с житом — подошел ячмень, желтел кулигами, ник чупрынистыми колосьями. Четверо пришлых рабочих, нанявшихся поденно, и Григорий выехали косить.

Аксинья отстряпалась рано, упростила Григория взять ее с собой.

— Сидела бы дома, нужда, што ль, несет? — отговаривал Григорий, но Аксинья стояла на своем и наскоро покрывшись выбежала за ворота, догоняя повозку с рабочими.

То, что ждала Аксинья с тоской и радостным нетерпением; то, чего смутно побаивался Григорий, — случилось на покосе. Аксинья гребла и, почувствовав некоторые признаки, бросила грабли, легла под копной. Схватки начались вскоре. Закусив почерневший язык Аксинья лежала плашмя. Мимо нее, об'езжая круг покрикивали с косилки на лошадей рабочие. Один молодой, с подгнившим носом и частыми складками на желтом, как из дерева выструганном лице, проезжая кидал Аксинье:

— Эй, ты, аль припекло в неподходящее место? Вставай, а то растаешь!

Сменившись с косилки Григорий подошел к ней.

— Ты чево?..

Аксинья, кривя непослушные губы, хрипло сказала:

— Схватывает.

— Говорил не езд, чортова сволочь! Ну, што теперя делать?

— Не ру-гай-ся, Гриша... Ох! Ох!.. Гриша, за-пря-ги! Домой бы... Ну, как я тут? Тут ить казаки... — застонала Аксинья, перехваченная железным обручем боли.

Григорий побежал за пасшейся в логу лошадей. Пока запрет и под'ехал — Аксинья отползла в сторону, стала на четвереньки, воткнув голову в ворох пыльного ячменя, выплевывая изжеванные от муки колючие колосья. Она распухшими чужими глазами непонимающе уставилась в подбежавшего Григория и застонав в'елась зубами в скомканную завеску, чтобы рабочие не слышали ее безобразного животного крика.

Григорий ввалил ее на повозку и погнал лошадь к имению.

— Ой, не гони!.. Ой, смерть!.. Тря-а-а-аско!.. — кричала Аксинья огрубевшим голосом, катая по днищу повозки всклокоченную голову.

Молча Григорий порол лошадь кнутом, кружил над головой вожжи, не оглядываясь назад, откуда валом полз охрипший рвущийся вой.

Аксинья стиснув ладонями щеки, дико поводя широко раскрытыми сумасшедшими глазами, подпрыгивала на повозке, метавшейся от края к краю по кочковатой, ненаезженной дороге. Лошадь шла наметом, перед глазами Григория плавно взметывались луга, прикрывая концом нависшее в небе ослепительно белое, граненое, как кристалл, облако. Аксинья на минуту оборвала сплошной, поднявшийся до визга вой. Тарахтели колеса, в задке повозки глухо колотилась о доски безвольная аксиньина голова. Григорий не сразу воспринял наставшую тишину, опомнившись глянул назад: Аксинья с искаженным, обезображенным лицом лежала, плотно прижав щеку к боковине повозки, зевая ртом, как рыба, выброшенная на берег. Со лба ее в запавшие глазницы ручьями тек пот. Григорий приподнял ей голову, подложил свою смятую фуражку. Скосив глаза, Аксинья твердо сказала:

— Я, Гриша, помираю. Ну... вот и все!

Григорий дрогнул. Внезапный холодок дошел до пальцев на потных ногах. Он, потрясенный, искал слово бодрости, ласки и не нашел; с губ, сведенных черствой судорогой, сорвалось:

— Бреешь, дура!.. — мотнул головой и, нагинаясь, переламываясь надвое, сжал неловко подвернувшуюся аксиньину ногу. — Аксютка, горлинка моя!..

Боль потуг, на минуту отпустившая Аксинью, вернулась удесятенно сильная. Чувствуя, как в опустившемся книзу животе что-то рвется, выгинаясь дугой, Аксинья пронизывала Григория невыразимо страшным нарастающим криком. Безумец, Григорий гнал лошадь.

— Аааы!.. Гы-ы-ы-к!.. — хрипя в потугах мычала Аксинья.

За грохотом колес Григорий едва услышал тягуче-тонкое:

— Гри-и-ша!

Он натянул вожжи, повернул голову: подплывшая кровью Аксинья лежала раскидав руки, между ног ее, под юбкой, в красно-белом месиве ворохнулось живое пискнувшее... Ошалевший Григорий прыгнул

с повозки и путанно, как стреноженный, шагнул к задку. Вглядываясь в пышущий жаром рот Аксиньи скорее догадался, чем разобрал.

— Пу-по-вину пер-гры-зи... за-вя-жи ниткой... от ру-ба-хи...

Григорий прыгающими пальцами выдернул из рукава своей бязевой рубахи пучок ниток, зажмурясь, до боли в глазах, перегрыз пуповину и надежно завязал кровоточащий отросток нитками.

XXI

К просторному суходолу наростом прилипло имение Листницкого Ягодное. Меняясь дул ветер, то с юга, то с севера; болтался в синеватой белеси неба солнечный желток; наступая на подол лету листопадом шуршала осень, зима наваливалась морозами, снегами, а Ягодное так же карежилось в одубелой скуке, и дни проходили, перелезая через высокие плетни, отгородившие имение от остального мира, похожие, как близнецы.

По двору так же ходили черные утки-шептуны в красных очкастых ободках вокруг глаз, бисерным дождем рассыпались цесарки, на крыше конюшни утробным кошачьим толосом мяукали крикливо оперенные павлины. Любил старый генерал всяческую птицу, даже подстреленного журавля держал, и в ноябре дергал он струны человеческих сердец медноголосым тоскующим криком, заслышав невнятный призыв вольных в отлете журавлей. Но лететь не мог, мертво висело перебитое в гибели крыло; а генерал, глядя из окошка, как журавль нагнув голову подпрыгивает, рвется от земли, смеялся разевая длинный, под седым навесом усов, рот, и басовитый смех табачным облаком плавал, колыхался в пустом белом зале.

Вениамин так же высоко носил плюшевую голову, дрожал студенистыми ляжками и целыми днями в передней на сундуке до одури играл в дурака сам с собою. Так же ревновал Тихон рябую свою любовницу к Сашке, рабочим, Григорию, к пану и даже к журавлю, которому уделяла Лукерья избыток переливавшейся через край вдовьей нежности. Дед Сашка время от времени напивался и шел под окна выпрашивать у пана двугривенные.

За все время случились лишь два события, встряхнувшие заплесневелую в сонной одури жизнь: аксиньины роды да пропажа племенного гусака. К девочке, которую родила Аксинья, скоро привыкли, а от гусака нашли за ливадой в ярке перья (видно, лиса пошкодила), и успокоились.

Просьпаясь по утрам, пан звал Вениамина.

— Видел что-нибудь во сне?

— А как же, такой чудесный сон.

— Рассказывай, — коротко приказывал пан, вертя папиросу.

И Вениамин рассказывал. Если сон был неинтересный или страшный, — пан сердился.

— Э, дурак, скотина! Дураку и сны дурацкие снятся.

Приловчился Вениамин придумывать сны веселые и занимательные. Одно тяготило его: надо было изобретать, и вот за несколько дней начинал он придумывать веселые сны, сидя на сундуке и шлепая по коврику картами пухлыми и сальными, как щеки игрока. Тупо влипал глазами в одну точку, измышлял и до того дошел, что в действительности совсем перестал сны видеть. Просыпался, тужился припоминая, но сзади была чернота, гладко, как стесано, и черно, не то, что сна — лица ни одного не видел.

Выдыхался Вениамин в нехитрых своих выдумках, а пан сердился, изловив рассказчика в повторах.

— Ты мне, пакость этакая, и в четверг этот сон про лошадь рассказывал. Что же ты, чорт тебя поберет?..

— Обратно видал, Николай Алексеевич! Истинный Христос, в другой раз вижу, — не теряясь врал Вениамин.

В декабре Григория с сидельцем вызвали в Вешенскую, в станичное правление. Получил сто рублей на коня и извещение, чтобы на второй день Рождества выезжать в слободу Маньково, на сборный участок.

Григорий вернулся из станицы растерянный; подходило Рождество, а у него ничего не было готово. На деньги, выданные казной, и на свои сбережения купил на хуторе Обрывском коня за сто сорок рублей. Покупать ходил с дедом Сашкой, сторговали коня подходящего: шестилеток, масти гнедой, вислозадый; был у него один потаенный из'янно дед Сашка, кудолча бороду, сказал:

— Дешевше не найдешь, а начальство не доглядит. Хисту у них не хватит.

Оттуда Григорий ехал на купленном коне верхом, пробовал шаг и рысь. А за неделю до Рождества приехал в Ягодное сам Пантелей Прокофьевич. Кобылу, запряженную в кошевки, не в'езжая во двор привязал к плетню и похромал к людской, обдирая сосульки с бороды, лежавшей на воротнике тулупа черным бруском. Григорий растерялся, угадав в окно отца.

— Вот так, ну!.. Отец!..

Аксинья зачем-то кинулась к люльке, кутая ребенка.

Пантелей Прокофьевич влез в комнату, напустив холоду, снял треух и перекрестился на образ; обводя стены медлительным взглядом.

— Здорово живете.

— Здравствуй, батя, — вставая с лавки отозвался на приветствие Григорий и шагнул среди комнаты.

Пантелей Прокофьевич сунул Григорию мерзлую руку, сел на край лавки, запахивая полы тулупа, обходя взглядом Аксинью, пристывшую у люльки.

— Собираешься на службу?

— А то как же?

Пантелей Прокофьевич замолчал, оглядывая Григория испытующе и долго.

— Раздевайся, батя, назяб ить небось?

— Ничево. Терпитя.

— Самовар поставим.

— Спасибочка, — соскабливая ногтем с тулупа давнишнее пятнышко грязи сказал: — там привез тебе справу: два шинеля, седло, шаровары. Возьми... Все там.

Григорий без шапки вышел и взял с саней два мешка.

— Когда выступать? — полюбопытствовал Пантелей Прокофьевич вставая.

— На другой день Рождества. Што ж, батя, едешь?

— Поспешаю пораньше возвратиться.

Он простился с Григорием и так же обходя взглядом Аксинью пошел к двери. Уже держась за щеколку стрельнул глазами в люльку, сказал:

— Мать поклон велела передать, хворает ногами, — и помолчал, натушно, словно тяжелое поднимая: — поеду, тебя провожу до Маньковой. Ты готовься.

Вышел, окуная руки в тепло вязаных рукавиц. Бледная от пережитого унижения Аксинья молчала. Григорий ходил, искоса поглядывая на нее, норовя наступать на одну скрипучую половицу.

На первый день Рождества Григорий возил Листницкого в Вешенскую.

Пан отстоял обедню, позавтракал у своей двоюродной сестры-помещицы и велел запрягать.

Григорий, не успевший дохлебать миску жирных, со свиной щей, встал и пошел в конюшню. В легких городских санках ходил серый, яблоками, орловский рысак, Шибай. Повиснув на поводе, Григорий вывел его из конюшни, торопясь запрег.

Ветер перевеивал хрушкий, колючий снег, по двору текла шипя серебрястая поземка. За палисадником на деревьях нежный бахромчатый иней. Ветер стряхивал его, и, падая, рассыпаясь, отливал он на

солнце радужными, сказочно богатыми сочетаниями красок. На крыше дома, около задымленной трубы, из которой косо струился дым, зябкие чечекали галки. Они слетели, испуганные скрипом шагов, покружились над домом сизыми хлопьями и полетели на запад, к церкви, четко синяя на фиолетовом утреннем небе.

— Скажи, што подано, — крикнул Григорий выбежавшей на крыльцо дворовой девке.

Вышел пан, окуная усы в воротник енотовой шубы. Григорий укутал ему ноги, пристегнул волчью, обшитую бархатом полсть.

— Погрей его, — указал пан глазами на рысака.

Запрокидываясь с козел, удерживая в чатянутых руках тугую дрожь вожжей, Григорий опасливо косился на раскаты, помнил, как по первопутку пан за неловкий толчок сунул ему в затылок крепкий не постариковски кулак. Спустились к мосту, и тут, по Дону, Григорий ослабил вожжи, растирая перчаткой охваченные ветровым огнем щеки.

До Ягодного долетели в два часа. Пан всю дорогу молчал, изредка стучал согнутым пальцем Григорию в спину: «останови-и», и делал папироску, поворачиваясь к ветру спиной. Уже спускаясь с горы в имение, спросил:

— Рано завтра?

Григорий повернулся боком, с трудом разодрал иззябшие губы.

— Рано, — получилось у него вместо «рано». Затвердевший от холода язык будто распух и, цепляясь за подковку зубов, выговаривал нетвердо.

— Деньги все получил?

— Так точно.

— За жену не беспокойся, будет жить. Служи исправно. Дед твой молодецкий был казак, чтоб и ты, — голос пана зазвучал глуше (он спрятал от ветра лицо в воротник), — чтоб и ты держал себя достойно своего деда и отца. Ведь это отец получил на императорском смотре в 1883 году первый приз за джигитовку?

— Так точно, отец.

— Ну, то-то, — строго, как грозя, кончил пан и наовсе спрятал в шубу лицо.

Григорий с рук на руки передал рысака деду Сашке, пошел в людскую.

— Отец твой приехал, — крикнул тот ему вслед, накидывая на рысака попону.

Пантелей Прокофьевич сидел за столом, доедая студень. «Под хмельком», — определил Григорий, окидывая взглядом размякшее отцово лицо.

— Приехал, служивый?

— Замерз весь, — хлопая руками ответил Григорий и к Аксинье: — Развяжи башлык, руки не владеют.

— Тебе попало, ветер-то в пику, — двигая при еде ушами и бородой мурчал отец.

На этот раз был он гораздо ласковее, Аксинье коротко по-хозяйски приказал:

— Отрежь ишо хлебца, не скупись.

Встав из-за стола и отправляясь к двери курить, будто невзначай раза два качнул люльку, просунув под положок бороду осведомился:

— Казак?

— Девка, — за Григория отозвалась Аксинья и, уловив недовольство, проплывшее по лицу и застрявшее в бороде старика, торопясь добавила: — Такая уж писаная, вся в Гришу.

Пантелей Прокофьевич деловито оглядел чернявую головку, торчавшую из-под вороха тряпья, и не без гордости удостоверил:

— наших кровей... Эх-гм... Ишь ты!..

— Ты на чем приехал, батя — спросил Григорий.

— В дышлах, на кобыленке, да на петровом.

— Ехал бы на одной, мово б припрягли.

— Не к чему, пуцай порожном идет. А конь справный.

— Видал?

— Чудок поглядел.

Говорили о разных нестоящих вещах, волнуемые одним общим. Аксинья не вмешивалась в разговор, сидела на кровати, как в воду опущенная. Каменно набухшие груди распирали ей створки кофты. Она заметно потолстела после родов, обрела новую, уверенно счастливую осанку.

Легли спать поздно. Прижимаясь к Григорию Аксинья мочила ему рубаху рассолом слез и молоком, стекавшим из невысосанных прудей.

— Помру с тоски... Как я одна буду?

— Небось, — таким же шопотом отзывался Григорий.

— Ночи длинные... дите не спит... Иссохну об тебе... Вздумай, Гриша, — четыре года!

— В старину 25 лет служили, гутарют.

— На што мне старина...

— Ну, будя!

— Будь она проклята служба твоя, разлучница!

— Приду в отпуск.

— В отпуск, — эхом стонала Аксинья, всхлипывая и сморкаясь в рубаху, — покеда придешь — в Дону воды много стекет...

— Не скули... Как дождь осенью, так и ты, одно да добро.

— Тебя б в мою шкуру!

Уснул Григорий перед светом. Аксинья покормила дитя и облокотившись, не мигая вглядывалась в мутно черневшие линии григорьева лица, прощалась. Вспомнилась ей та ночь, когда она уговаривала его в своей горнице итти на Кубань; так же, только месяц был, да двор за окном белел, затопленный лунным половодьем.

Так же было, а Григорий сейчас и тот и не тот. Легла за плечи длинная, протоптанная днями стежка...

Григорий повернулся на бок, сказал внятно:

— На хуторе Ольшанском... — и смолк.

Аксинья пробовала уснуть, но мысли разметывали сон, как ветер копну сена. Она досвета продумала об этой бессвязной фразе, подыскивая к ней отгадку. Пантелей Прокофьевич проснулся лишь чуть запенился на об'иневших окнах свет.

— Григорий, вставай, светает!

Аксинья, привстав на колени, надела юбку и, вздыхая, долго искала спички.

Пока позавтракали и уложились — рассветло. Синими переливами играл утренний свет. Четко, как врезанный в снег, зубчатился плетень и, прикрывая нежную сиреневую дымку неба, темнела крыша конюшни.

Пантелей Прокофьевич пошел запрягать. Григорий оторвал от себя испуганно целовавшую его Аксинью, пошел проститься с дедом Сашкой и остальными.

Закутав ребенка Аксинья вышла его провожать.

Григорий коснулся губами влажного лобика дочери, подошел к коню.

— Садись в сани! — крикнул отец, трогая лошадей.

— Не, верхом я.

Григорий с рассчитанной медленностью затягивал подпруги, садился на коня и разбирал поводья. Аксинья, касаясь пальцами его ноги, часто повторяла:

— Гриша, погоди... Што-то хотела сказать... — и морщилась вспоминая, растерянная, дрожащая.

— Ну, прощай! Дитя гляди... поеду, а то батя вон иде уж...

— Погоди, родимый!.. — левой рукой хватала Аксинья холодное стремя, правой прижимая завернутого в полу ребенка, и глядела ненасытно, и не было свободной руки, чтобы утереть слезы, падавшие из широко открытых немигающих глаз.

На крыльцо вышел Вениамин.

— Григорий, пан зовет.

Григорий выругался, взмахнул плетью и поскакал с двора. Аксинья бежала за ним следом, застревая в сугробах, засыпавших двор, неловко вскидывая обутыми в валенки ногами.

На гребне Григорий догнал отца. Крепясь оглянулся: Аксинья стояла у ворот, прижимая к груди закутанного в полу ребенка, и ветер трепал, кружил на плечах ее концы красного шалевого платка.

Григорий поровнялся с санями. Поехали шагом.

Пантелей Прокофьевич повернулся спиной к лошадям, спросил:

— Значица, не думаешь с женой жить?

— Давнишний сказ... отгугарили...

— Не думаешь, стал-быть?

— Стал-быть, так.

— Не слыхал, што она руки на себя накладывала?

— Слыхал.

— От ково?

— В станицу пана возил, хуторных припало повидать.

— А бог?

— Што ж, батя, на самом-то деле... што с возу упало, то пропало.

— Ты мне чертовую не расписывай! Я с тобой по добру гутарю, — озлобляясь зачастил Пантелей Прокофьевич.

— У меня вон дите, об чем гутарить? Теперича уж не прилеписья.

— Ты гляди... не чужова вскармливаешь?

Григорий побледнел: тронул отец незарубцеванную болячку. За все время после рождения ребенка Григорий мучительно вынашивал в себе, таясь перед Аксиньей, перед самим собой, подозрение. По ночам, когда спала Аксинья, он часто подходил к люльке, всматривался, выискивая в розово-смуглом лице ребенка свое и отходил такой же неуверенный, как и раньше. Темно-русый, почти черный был и Степан, — как узнать, чью кровь гоняет сердце по голубеющей сетке жил, просвечивающей под кожей ребенка? Временами ему казалось, что дочь похожа на него, иногда до боли напоминала она Степана. К ней ничего не чувствовал Григорий, разве только неприязнь за те минуты, которые пережил, когда вез корчившуюся в родах Аксинью со степи. Раз как-то (Аксинья стряпала на кухне), вынула дочь из люльки сменяя мокрую пеленку почувствовал острое щиплющее волнение. Воровато нагнулся, пожал зубами красный оттопыренный палец на ноге.

Отец безжалостно кольнул в большое, и Григорий, сложив на луке ладони, глухо ответил:

— Чей бы ни был, а дитя не брошу.

Пантелей Прокофьевич, не поворачиваясь, махнул на лошадей кнутом.

— Наталья спортилась с тово разу.. Голову криво держит, будто параликом зашибленная. Жилу нужную перерезала, вот шею-то и ко-собочит.

Он помолчал. Скрипели полозья, кромсая снег, щелкал подковами засекаясь григорьев конь.

— Што ж она, как? — спросил Григорий, с особенным вниманием выковыривая из конской гривы обопревший репей.

— Очунелась, никак. Семь месяцев лежала. На троицу во взят до-ходила. Поп Панкратий соборовал... А пося отошла. С тем поднялась, поднялась и пошла. Косу-то пырнула под сердце, а рука дрогнула, ми-мо взяла, а то б садуски.

— Трогай под горку, — махнул Григорий плетью и, опережая отца, брызгая в сани снежными, из-под копыт, ошлепками, зарысил, привстав на стремянах.

— Наталью мы возьмем, — кричал догоняя его Пантелей Про-кофьевич, — не хочет баба у своих жить. Надьсь видал ее, кликал, што б шла к нам.

Григорий не отвечал. До первого хутора бежали молча, и больше разговор об этом Пантелей Прокофьевич не заводил.

За день сделали верст семьдесят. На другие сутки (в домах уж зажгли огни) приехали в слободу Маньково.

— А в каком квартале вешенские? — спросил Пантелей Прокофье-вич у первого встречного.

— Держи по большой улице.

На квартире, в которую попали, стояло пять призывников, с про-вожающими их отцами.

— С каких хуторов? — осведомился Пантелей Прокофьевич, за-водя лошадей под навес сарая.

— С Чиру, — густо ответили из темноты.

— А с хутора?

— С Каргина есть, с Наполова, с Лиховидова, а вы откель?

— С Кукуя, — засмеялся Григорий, расседывая коня и щупая вспотевший под седлом участок конской спины.

На утро станичный атаман Вешенской станицы Дударев привел вешенцев на врачебную комиссию. Григорий увидел хуторных ребят-одногодков; Митька Коршунов на высоком светло-гнедом коне, под-седланном новехоньким щегольским седлом, с богатым нагрудником и наборной уздечкой, еще утром проскакал к колодезю и, завидев Гри-гория, стоявшего у ворот своей квартиры, прожег мимо не здороваясь, придерживая левой рукой надетую набекрень фуражку.

В холодной комнате волостного правления раздевались по оче-реди. Мимо сновали военные писаря и помощник пристава; в коротких

лакированных сапожках частил мимо адъютант окружного атамана, перстень его с черным камнем и розовые припухшие белки красивых черных глаз сильнее оттеняли белизну кожи и аксельбантов. Из комнаты просачивался разговор врачей, стрывистые замечания:

— Шестьдесят девять.

— Павел Иванович, дайте чернильный карандаш. Близко, у двери, хрипел похмельный голос.

— Объем груди...

— Да, да, явно выраженная наследственность...

— Сифилис, запишите.

— Что ты рукой-то закрываешься? Не девка.

— Сложен-то как...

— ... хуторе рассадник этой болезни. Необходимы особые меры. Я уже рапортовал его превосходительству.

— Павел Иванович, посмотрите на сего суб'екта. Сложен-то каково?

— Мда-а-а...

Григорий раздевался рядом с высоким рыжеватым парнем с хутора Чукаринского, из дверей вышел писарь, морщина на спине гимнастерку, четко сказал:

— Панфилов Севастьян, Мелехов Григорий.

— Скорей! — испуганно шепнул сосед Григория, краснея и выворачивая чулок.

Григорий вошел неся на спине сыпкие мурашки. Его смуглое тело потемнело, отливало цветом томленого дуба. Он конфузился, глядя на свои ноги, густо поросшие черным волосом. В углу на весах стоял голый угловатый парень. Какой-то по виду фельдшер, передвинув мерку, крикнул:

— Четыре, десять. Слезай.

Унизительная процедура осмотра волновала Григория. Седой, в белом, доктор слушал его трубкой, другой помоложе отдираал веки глаз и смотрел на язык, третий в роговых очках вертелся сзади, потирая руки с засученными по локоть рукавами.

— На весы.

Григорий ступил на рубчатую холодную платформу.

— Пять, шесть с половиной, — щелкнув металлической навеской определил весовщик.

— Что за чорт, не особенно высокий... — замурлыкал седой доктор, за руку поворачивая Григория кругом.

— Уди-ви-тельно! — заикаясь поперхнулся другой, помоложе.

— Сколько? — изумленно спросил один из сидевших за столом.

— Пять пудов, шесть с половиной фунтов, — не опуская вдернутых бровей ответил седой доктор.

— В гвардию? — спросил окружной военный пристав, наклоняясь черной прилизанной головкой к соседу за столом.

— Рожа бандитская... Очень дик.

— Послушай, повернись! Что это у тебя на спине? — крикнул офицер с погонами полковника, нетерпеливо стуча пальцем по столу.

Седой доктор бормотал непонятное, а Григорий, поворачиваясь к столу спиной, ответил, с трудом удерживая дрожь, рябью покрывавшую все тело.

— С весны простыл. Чирьяки это.

К концу обмера за столом чины посоветовавшись решили:

— В армию.

— В 12-й полк, Мелехов. Слышишь?

Григория отпустили. Направляясь к двери, он услышал брюзгливый шопот:

— Нель-зая-а-а. Вообразите, увидит государь такую рожу, что тогда? У него одни глаза...

— Переродок, с востока, наверное.

— При том тело нечисто, чирьи...

Хуторные, ожидавшие очереди, огарновали Григория.

— Ну, как, Гришка?

— Куда?

— В Атаманский, небось?

— Сколько заважил на весах?

Чикиля на одной ноге Григорий просунул ногу в штанину, ответил сквозь зубы:

— Отвяжитесь, какова чорта надо? Куда? В 12-й полк.

— Коршунов Дмитрий, Каргин Иван, — высунул писарь голову.

На ходу застегивая полушубок Григорий сбежал с крыльца.

На площади ехали и вели в поводу лошадей.

Ростепель дышала теплым ветром, парилась оголенная местами дорога. Через улицу пробегали клохчущие куры, в лужине, покрытой косою пльвущей рябью, шлепали гуси. Лапы их розовели в воде оранжево-красные, похожие на зажженные морозом осенние листья.

Через день начался смотр лошадей. По площади засновали офицеры, развевая полами шинели прошел ветеринарный врач и фельдшер с кономером. Над оградой длинно выстроились разномастные лошади. К столику, поставленному среди площади, где писарь записывал результаты осмотра и обмера, оскользясь пробежал от весов вешенский станичный атаман Дударев, прошел военный пристав, что-то объясняя молодому сотнику, сердито дрыгая ногами.

Григорий, по счету 108-й, подвел коня к весам. Обмеряли все участки на конском теле, взвесили, и не успел конь сойти с платформы, — ветеринарный врач снова, с привычной властностью, взял его за верхнюю губу, осмотрел рот, сильно надавливая, ощупал грудные мышцы и, как паук, перебирая цепкими пальцами, перекинулся к ногам.

Он сжимал коленные суставы, стучал по связкам сухожилий, жал кость над щетками... Долго выслушивал и выщупывал насторожившегося коня и отошел, развеивая полами белого халата, сея вокруг терпкий запах карболовой кислоты.

Коня забраковали. Не оправдалась надежда деда Сашки, и у дошлого врача хватило «хисту» найти тот потаенный из'ян, о котором говорил дед Сашка.

Взволнованный Григорий посоветовался с отцом и через полчаса, между очередью, ввел на весы петрова коня. Врач пропустил его почти не осматривая.

Тут же неподалеку выбрал Григорий место посуше и, расстелив попону, выложил на нее свое снаряжение; Пантелей Прокофьевич держал сзади коня, переговариваясь с другим стариком, тоже провожавшим сына.

Мимо них в бледно-серой шинели и серебристой каракулевой папаше прошел высокий седой генерал. Он слегка заносил вперед левую ногу, помахивал рукой, затянутой в белую перчатку.

— Вон окружной атаман, — шепнул Пантелей Прокофьевич, толкая сзади Григория.

— Генерал, видно?

— Генерал-майор Макеев. Строгий дурдом!

Сзади атамана толпой шли приехавшие из полков и батарей офицеры. Один под'есаул, широкий в плечах и бедрах, в артиллерийской форме громко говорил товарищу, высокому красавцу-офицеру из лейб-гвардии Атаманского полка.

— ...Что за чорт, эстонская деревушка, народ преимущественно белесый и таким резким контрастом эта девушка, да ведь не одна! Мы строим различные предположения и вот узнаем, что лет 20 назад, — офицеры шли мимо, удаляясь от места, где Григорий разлаживал на попоне свою казацкую справу, и он, за ветром, с трудом расслышал покрытые смехом офицеров последние слова артиллериста-под'есаула: — ... оказывается стояла в этой деревушке сотня вашего Атаманского полка.

Писарь пробежал, застегивая дрожащими, измазанными в химические чернила пальцами пуговицы сюртука, вслед ему помощник окружного пристава распалась кричал:

— В трех экземплярах, сказано тебе! Закатаю!

Григорий с любопытством всматривался в незнакомые лица офицеров и чиновников. На нем остановил скучающие влажные глаза шагавший мимо адъютант и отвернулся, повстречавшись с внимательным взглядом; догоняя его, почти рысью, шел старый сотник, чем-то взволнованный, кусающий желтыми зубами верхнюю губу. Григорий заметил, как над рыжей бровью сотника трепетал, трогая веко, живчик.

Под ногами Григория лежала ненадеванная попонка, на ней порядком разложены: седло, с окованным, крашенным в зеленое ленчиком, с саквами ¹⁾ и задними сумами, две шинели, двое шаровар, мундир, две пары сапог, белье, фунт и 54 золотника сухарей, банка консервов, крупа и прочая, в полагаемом для всадника количестве, снесь.

В раскрытых сумках виднелся круг — на четыре ноги, — подков, ухнали, завернутые в промасленную тряпку, шитвянка с парой иголок и нитками, полотенце.

В последний раз оглядел Григорий свои пожитки, присел на корточки и вытер рукавом измазанные края вьючных пряжек. От конца площади медленно тянулась, над рядом выстроившихся около попон казаков, комиссия. Офицеры и атаман внимательно рассматривали казачье снаряжение, приседали, подбирая полы светлых шинелей, рылись в сумках, разглядывали шитвянки, на руку прикидывали вес сумок с сухарями.

— Гля, ребята, вон этот длинный, — говорил парень, стоявший рядом с Григорием, указывая пальцем на окружного военного пристава, — копает, как кабель хориную норю.

— Ишь, ишь, чертило!.. Суму выворачивает!

— Должно, непорядок, а то б не стал трепушить.

— Штой-то он, никак ухнали считает?..

— Во кабель!

Разговоры постепенно смолкли, комиссия подходила ближе, до Григория оставалось несколько человек. Окружной атаман в левой руке нес перчатку, правой помахивал, не сгиная ее в локте. Григорий подтянулся, сзади покашливал отец. Ветер нес по площади запах конской мочи и подтаявшего снега. Невеселое, как с похмелья, посматривало солнце.

Группа офицеров задержалась около казака, стоявшего рядом с Григорием, и по одному перешли к нему.

— Фамилия, имя?

— Мелехов, Григорий.

Пристав за хлястик проподнял шинель, понюхал подкладку, бегло пересчитал застёжки; другой офицер, с погонами хорунжего, мял

¹⁾ Саквы—передние сумы.

в пальцах добротное сукно шаровар; третий, нагинаясь так, что ветер на спину ему запрокидывал полы шинели, шарил по сумам. Пристав, мизинцем и большим пальцем, осторожно, точно к горячему, прикоснулся к тряпке с ухналями, шлепая губами считал.

— Почему 23 ухналя? Это что такое? — сердито дернул он угол тряпки.

— Никак нет, ваше высокоблагородие, 24.

— Что я, — слепой?

Григорий суетливо отвернул заломившийся угол, прикрывший двадцать четвертый ухналь, пальцы его шероховатые и черные слегка прикоснулись к белым сахарным пальцам пристава. Тот дернул руку, словно накололся, потер ее о боковину серой шинели, брезгливо морщась, надел перчатку.

Григорий заметил это и выпрямившись зло улыбнулся. Взгляды их столкнулись, и пристав, краснея верхушками щек, поднял голос:

— Кэк смэтришь! Кэк смэтришь, казак?.. — щека его, с присохшим у скулы бритвенным порезом, зарумянена сверху до низу. — Почему вьючные пряжки не в порядке? Почему трензеля такие? Это еще что такое? Казак ты или мужицкий лапоть?.. Где отец?

Пантелей Прокофьевич дернул коня за повод, выступил шаг вперед, щелкнув хромой ногой.

— Службу не знаешь?.. — насыпался на него пристав, злой с утра по случаю проигрыша в преферанс.

Подошел окружной атаман, и пристав потишел. Окружной ткнул носком сапога в подушку седла, икнув перешел к следующему. Эшелонный офицер того полка, в который попал Григорий, вежливоенько перерыл все до содержимого шитвянки и отошел последним, пятась спиной, закуривая на ветру.

Через день, поезд, вышедший со станции Чертково, пер состав красных вагонов, груженных казаками, лошадьми и фуражем на Лиски-Воронеж.

В одном из них, привалившись к досчатой кормушке, стоял Григорий. Мимо раздвинутых дверок вагона скользила чужая равнинная земля, вдали каруселила голубая и нежная прядка леса.

Лошади хрустели сеном, переступали, чуя зыбкую опору под ногами.

Пахло в вагоне степной польнью, конским потом, вешней ростепелью, и далекая маячила на горизонте прядка леса, голубая, задумчивая и недоступная, как вечерняя неяркая звезда.

Конец второй части



духовенства, христианских школ, правительственных податей, жандармерии и т. д.; если озлобленные попы во главе с местным епископом сжигают после смерти Гогэна его дом со всеми оставшимися там последними картинами художника,—о всем этом у Могэма ни слова. В самом деле, как примирить этот социальный бунт с общественным равнодушием и безнравственностью художника, ничего не желающего знать, кроме своего искусства?

Но если «теория» Могэма рухнет уже при одном взгляде на того на-

стоящего, исторического Гогэна, который преобразился в ходульного сверхчеловека Стрикленда, чем же она может быть близка пролетарскому художнику? Ничем. Пути пролетарского искусства не имеют ничего общего с аморальным эстетизмом, последний же является только идеологией европейской богемы, которая, впрочем, «творит красоту» более своим пьянством и «аморально-эстетическим» битьем стекол, чем творчеством.

Ю. Данилин



СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ДЖОН РИД — Дочь революции (рассказ) . . .	3
П. ЛОГИНОВ-ЛЕСНЯК — Дикое Поле (роман)	16
АННА КАРАВАЕВА — Лесозавод (роман), продолжение	60
СТИХИ — С. Кирсанова, А. Кудрейко, В. Щепотева, В. Саянова, И. Бехера	115—124
МИХ. ШОЛОХОВ — Тихий Дон (роман), продолжение	125
СТИХИ — И. Садофьева, Б. Уральского, С. Щипачева, В. Макарова, Руд. Бершадского, Р. Морана	223—231
Н. КАМАРНИЦКИЙ — В годы империалистической войны	232
ВЛ. БОНЧ-БРУЕВИЧ — Тайная поездка в Россию в 1905 г., окончание	259

ЖИЗНЬ НА ХОДУ

А.Л. ИСБАХ — Полотняный город	278
А. ГАБАРЮ — Новобранды	284

ЛИТЕРАТУРА

БОР. ВОЛИН — Ленин и литература	289
---	-----

ГОЛОС ЧИТАТЕЛЯ

С. КОРОТКОВ — За что я люблю Максима Горького	301
П. ДОБРУШИНСКИЙ — Надо покрепче критиковать	302

БИБЛИОГРАФИЯ

А. Селивановский, Л. Тоом, И. Поступальский, Б. Киреев, А. Ревякин, Ж. Эльсберг, Ю. Данилин	304—314
---	---------

ВЫПИСЫВАЙТЕ на 1928 год

литературно-художественный и общественно-политический ежемесячный журнал

ОКТАБРЬ

ОРГАН ВСЕСОЮЗНОЙ АССОЦИАЦИИ ПРОЛЕТАРСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ.

Отв. редактор **А. СЕРАФИМОВИЧ**. Зам. редактора **М. ЛУЗГИН**.
В этом году журнал значительно реорганизован и увеличен: вместо 2304 стр.—
2880 стр. художественного текста.

В ТЕЧЕНИЕ ГОДА БУДУТ НАПЕЧАТАНЫ:

Романы: А. Фадеев—Последний из Удого. А. Серафимович—Борьба. Ю. Либедникий—Поворот. М. Шолохов.—Тихий Дон. Анна Караваева—Тесозавод. М. Логинков—Лесник—Дикое поле. М. Чумандрин—Губкомцы.

Повести: Вайскопф—Прыжок в XXI столетие. Н. Асеев—Молодость Кропоткина. Г. Нинифоров—Сухое время. М. Лузгин—Оборот. Н. Ляшно—Нерыдаецки. В. Бехметьев—Ефим Троицын. Я. Коробов—Мышиный дух. Новиков-Прибой—Новая повесть. Ферлонт Ложкии—Спутники. Н. Богданов—Один в лесу.

Рассказы: Сергей Семенов—Белое лицо. Иван Вольнов—Божья дудка. Артем Веселый. М. Колосов. М. Грозов, М. Сивачев—Харбин. И. Жига—Рабочий квартал. С. Малашкин. Новиков-Прибой—В присподней. А. Дорогойченко. М. Алехов—Атаманщина. А. Теврян. И. Никитин. М. Карпов. В. Ставский. И. Сиоринко. А. Бусыгин. и др. Апри Барбос. Валян-Кутурье. Г. Моллен. Бела-Иллеш. Мате Зална. Н. Ненсе и др.

Поэмы и стихи: А. Безыменский—„В те дни“. В. Сайнов—Новая поэма. М. Светлов—Поэма „Клоды“. И. Дорониин—Новая поэма. А. Шаров. И. Уткин. В. Казин. И. Садофьев. Г. Санников. С. Обрадovich. Н. Поletaев. Я. Шведов. В. Маяковский. Н. Асеев. С. Кирсанов. И. Сельвицкий. И. Бехер. А. Гидаш. Стандей и др.

Критические статьи и обзоры: А. Авербах. А. Луначарский. А. Зонин. В. Киршон. Н. Гроссман-Рощин. Н. Корабельников. Г. Янубовский. В. Ермилов. В. Полянский. В. Вешнев. Красильников. И. Рович и многие другие.

В отделе „Жизнь на ходу“ будут систематически печататься очерки, широко освещающие труд и быт народов СССР, Запада и Востока. В отделе воспоминаний в 1928 году будут напечатаны материалы: А. А. Богданова—„Литературные встречи“. В. Д. Бонч-Бруевич—„Тайная поездка в Россию в 1905 году“. Женевоские воспоминания (неизданные письма В. И. Ленина, Г. В. Плеханова, Ансельрода и др.). Неопубликованные статьи Я. М. Свердлова. Воспоминания из эпохи „Звезды“ и „Правды“ Вл. Бонч-Бруевича и Н. Поletaева (бывш. ред. „Правды“) и др.

В 1928 ГОДУ БУДУТ ДАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ:

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. „Роман-газета“—в год 24 романа (М. Горького, А. Серафимовича, У. Синклер, Ю. Либедникого, Паннат Истрати и др.). Цена вместо 6 руб.—4 руб. Для годовых подписчиков журнала допускается следующая рассрочка; первый взнос—2 руб. в момент подписки и второй взнос—2 руб. к 1 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Массовая партийная библиотечка „Итоги XV партсъезда“, 30 названий. Цена вместо 6 руб.—3 руб. 50 коп., с рассрочкой платежа для годовых подписчиков журнала: первый взнос 2 руб. при заказе и второй взнос—1 руб. 50 коп к 1 апреля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Библиотека „Новинки пролетарской литературы“, 12 книг в год в переплетах. Цена вместо 28 руб.—18 руб., с рассрочкой платежа, для годовых подписчиков журнала: первый взнос—6 руб. в момент подписки, второй взнос—6 руб. к 1 апреля и третий взнос—6 руб. к 1 июля.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Библиотека антиквита. В библиотеку войдут: 1) Карл Маркс и Фридрих Энгельс—„Избранные письма“, в 1 томе. 2) Поль Лафарг—Избранные сочинения, в 2 томах. 3) Роза Люксембург—Избранные сочинения, в 2 томах. Цена библиотеки вместо 14 руб.—8 руб., с рассрочкой платежа для годовых подписчиков журнала: первый взнос 3 руб. при заказе, второй взнос—3 руб. к 1 апреля и третий взнос—2 руб. к 1 июля.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА 12 МЕСЯЦЕВ БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЙ: на год—12 руб., на 6 мес.—7 руб., на 3 мес.—4 руб. Отдельный номер в розничной продаже 1 руб. 40 коп. При коллективной подписке (на 10 и более экз. в один адрес) предоставляется скидка с головной цены: при подписке на год вместо 12 руб.—10 руб., при подписке на полгода вместо 7 руб.—5 руб. 50 коп. При условии непосредственного обращения в изд-во и только для годовых подписчиков допускается рассрочка: по индивидуальной подписке 1-й взнос (при подписке)—5 руб., 2-й (к 1 апреля)—4 руб. и последний взнос (к 1 июля)—3 руб. По коллективной подписке: 1-й взнос—4 руб., 2-й и 3-й по—3 руб.—в те же сроки, что и для индивидуальной подписки. **С заказами обращаться в издательство „МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ“, Москва, Центр. Кузнецкий Мост, 7.**

ЦЕНА 1 РУБ. 40 КОП.

45



Государств. Палата. М
Центральная
БЮРО
МЕЖДУНАРОДНОГО
КНИГООБМЕНА.
ПАЛАТА. М

**ПОДПИСКУ НАПРАВЛЯТЬ:
ОТДЕЛ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ
МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ**

Москва, Кузн. Мост, 7. Ленинград, Прси.
Володарского, 53-а. Розничная продажа от-
дельн. номеров во всех магазинах и киосках